

Ольга Фарбер



Ищу квартиру
на Арбате

Ольга Фарбер

Ищу квартиру на Арбате

«БОС»

2018

УДК 82-31
ББК 84-44

Фарбер О. М.

Ищу квартиру на Арбате / О. М. Фарбер — «БОС», 2018

ISBN 978-5-905117-26-8

Главная героиня книги – Катя – живет в Москве и в отличие от ее двоюродной сестры Марины не находится в постоянном поиске любви. Она ищет свое потерянное детство, ту зону эмоционального комфорта, где ей было лучше всего. Но любовь врывается в ее жизнь сама, не давая права на раздумья. Эта книга настолько многогранна, что почти любая женщина найдет в ней близкую только ей сюжетную линию. Тут есть истории настоящей любви и настоящего предательства. Есть недопонимание между главными героями, та самая недосказанность, свойственная многим людям, когда умом понимаешь, что нужно всего лишь спросить, настоять на объяснениях, но что-то нам не дает это сделать. Автор умело скрывает развязку, и концовка ошеломляет, полностью переворачивает представление от ранее прочитанного. И немудрено, ведь главным цензором и редактором для Ольги Фарбер стала сама жизнь, с ее непредсказуемыми поворотами, взлетами и падениями.

УДК 82-31

ББК 84-44

ISBN 978-5-905117-26-8

© Фарбер О. М., 2018

© БОС, 2018

Содержание

Глава I	7
Глава II	23
Конец ознакомительного фрагмента.	39



Ольга Фарбер

Ищу квартиру на Арбате

За блестящее изложение исторических фактов и неиссякаемый оптимизм особая благодарность автора Алле Семеновне Романовой

Мы знакомы с Ольгой больше двадцати лет. Я знал ее как профессионала в сфере недвижимости. Каково же было мое удивление, когда она позвонила мне и сказала, что написала книгу, и не просто книгу, а свой первый роман «Ищу квартиру на Арбате».

Главная героиня романа – Катя Суворова – риэлтор, и в лихие девяностые она работает в одном из первых в Москве агентств недвижимости. Истории ее клиентов – это истории из жизни.

А еще Катя влюбляется в женатого мужчину, и, наперед зная, что не будет предложений руки и сердца и планов на совместную жизнь, рождает от него ребенка.

Оказывается это так просто – взять и сделать!

Мне нравится Катя, несмотря на то что она даже яичницу не может приготовить.

Ведь не это в жизни главное! У нас мамы с бабушками программируют девочку на обязательные: «Ты должна научиться готовить», «Ты должна то, должна се». И у девочки формируется ущербное мышление: она будет востребована как женщина, только если будет соответствовать набору критериев. Проблема Кати не только в «женском воспитании», а главное в том, что бабушка и мама скрывают, что же на самом деле произошло с ее отцом. С раннего детства и до 42 лет Катя страдает и не может выстроить отношения с мужчинами. Она им не доверит.

Книга помогает читателям задуматься над вопросами, которые могут возникнуть в любой семье.

Желаю всем приятного прочтения романа «Ищу квартиру на Арбате».

Уверен, что книга вам понравится!

Михаил Лабковский,

психолог

У соседей за стенкой вселенский скандал,
Звон фаянсовый, злые рыдания.
Это звон повсеместный семейных кандал,
Женский плач у основ мироздания.

Я стою, прижимаясь затылком к стене.
За окошко смотрю на свободу.
Мне лет шесть. Это все происходит во мне

В сентябре високосного года.

Зачадивший очаг. Разоренный альков.
Горький опыт. Живые потери.
И на цыпочках, еле заметна, любовь
Ускользает в закрытые двери.

Андрей Амлинский

Глава I

Ночной звонок

Как легко заблудиться в городе, который знаешь с детства! Это город меняется или меняются воспоминания о нем?

Денежный, Пречистенский, Кропоткинский, Малый Власьевский, Староконюшенный, Сивцев Вражек – арбатские переулки перетекали один в другой, сплетались бесконечным узором и, оставаясь за спиной, каким-то непостижимым образом вновь теснились впереди, сметая знакомые с детства ориентиры.

Арбатские переулки... Заблудиться в них легко, особенно когда ищешь приметы давно ушедшего времени. Но не мог же город так измениться, перестроить сам себя, как таинственный особняк Красной Розы, или стать жертвой безумного архитектора, оставившего неприкосновенными фасады, но перепутавшего дома местами. А ведь именно так, выходит, и было! Он просто выдергивал старинные особняки с корнями и пересаживал их на новые места, творя Старый Арбат на новый манер, и получилось ладно. Вот он, Гений места: все наоборот, как в Зазеркалье, но будто так и задумывалось.

Катя кружила по Арбату в поисках дома, который давно должна была найти. Она снова и снова шла по Сивцеву Вражку. Поворачивала налево – Афанасьевский, возвращалась назад – Афанасьевский. Будто кто-то играл с ней, водил по кругу, запутывал. Только после третьей попытки понять, где она, Катя осознала, что есть Большой и Малый Афанасьевские.

Окончательно заблудившись, она остановилась и засунула руки в карманы – с детства эта привычка выражала у нее крайнее отчаяние.

Когда отец отказывался покупать ей шоколадку, он говорил: «Ну ты же знаешь, что нам обоим попадет от мамы», или того хуже «А я думал, что ты послушная девочка и знаешь, что нельзя есть сладкое перед обедом». В такие моменты Катя останавливалась посреди улицы и решительно сжимала кулачки в карманах. Конечно, она знала, что мама ее любит, но «сделать как положено», с укором «ты же девочка!» было для ее мамы важнее. Катя надеялась, что папа все-таки купит ей «Аленку» и у них будет секретик от мамы. А папа лишь потуже завязывал ей бантик и уговаривал пойти домой, чтобы поиграть в шахматы. И она соглашалась, потому что шахматы были для нее самым большим удовольствием. Даже большим, чем шоколадка «Аленка»...

Где же это было? Вот в этом переулке, нет, в этом... А может, в том?

Катя сжала голову влажными ладонями: «Я не сошла с ума. Просто запуталась, заблудилась. Эти ремонты, обновления фасадов – ты же сама все знаешь. В каждом переулке проданные тобой квартиры. Отставить панику! Взять себя в руки!»

Повелительное наклонение, да еще озвученное суровым маминым голосом, как всегда сработало безупречно. Она сделала еще пару шагов и вдруг остановилась как вкопанная. Это был тот дом, который она искала. Вон их окна на третьем этаже!

Катя вбежала в парадную – именно парадную: ее злило это вечное московско-питерское противостояние «поребрик – бордюр», «подъезд – парадная». На московском Арбате нет подъездов, там именно вполне петербургские парадные. Вбежала, втянула носом знакомый спертый запах старого дома и решительно нажала кнопку вызова лифта.

Разбуженная нетерпеливым тонким пальчиком металлическая машина рассерженно охнула и с тяжелым лязгом медленно двинулась вниз. Недовольно, как определила для себя Катя, уже приготовившись извиняюще улыбнуться перед спускавшейся раздраженной спросонья кабиной.

Дверь раскрылась бесшумно, быстро и гостеприимно. Катя видела сотни московских лифтов за годы работы с недвижимостью, но тут оробела. Что-то в этом представителе семейства лифтовых было неправильным, хотя, вроде, все на месте: тусклая лампочка в потолке, спрятанная за решеткой, чтобы не выкрутили.

В каждом, даже самом приличном старом доме лифт всегда отличался «советским» характером, что не ускользало от глаз дотошных клиентов – иностранцев. Однажды, чтобы не ударить в грязь лицом, Катя побежала в соседний хозяйственный магазин, где купила тазик, желтые резиновые перчатки и средство для мытья полов.

– Вам какое? – спросила продавщица, с интересом изучая высокую молодую женщину в светло-розовом брючном костюме.

– Мне все равно, девушка, пожалуйста, поскорее, а то он сейчас приедет...

– Кто приедет?

– Да неважно. Сколько с меня?

Катя вернулась в подъезд, присела на корточки и начала отмывать лужу в кабине лифта. Она выскочила из лифта и спрятала таз с тряпками и перчатками под скамейку возле подъезда в самый последний момент.

– Уф, успела, – подумала она и приветливо помахала шедшему в ее сторону клиенту.

«Третий», – зачем-то отчиталась Катя перед лифтом и нажала кнопку.

Лифт вздрогнул и послушно закрыл двери.

«Что-то с ним не так», – уже отчетливо поняла Катя, но слишком поздно.

Набирая скорость, лифт устремился не вверх, а вниз – в черную, бесконечную неизвестность.

У Кати перехватило дыхание, спина взмокла. «Нееееееет! Этого просто не может быть!» – лихорадочно твердила она себе. Лифт со скоростью самолета летел на дно шахты-пропасти, ведь где-то же оно все равно будет?! Счет жизни шел на секунды...

– Папа, папочка, умоляю, спаси меня, мне страшно! – закричала она, забарабанила в двери и тут же лифт с оглушительным грохотом врезался в подземную твердь – разбился, разлетелся на осколки, и в эпицентре удара она, Катя, остатками ускользящего навеки сознания услышала мелодичный звон – однообразный, меланхоличный, неуместный в оглушительной тишине, которая всегда повисает в первые секунды после катастрофы.

Телефон на тумбочке не унимался. Видимо, кто-то не знал о стандартных для вежливых людей пяти гудках, после которых воспитанный человек отменяет звонок, понимая, что абоненту не до него. Впрочем, вежливые люди не звонят в четыре часа утра.

Катя, еще не понимая, где она находится, взяла трубку. Вряд ли ее ожидало что-то хуже падающего в бездну лифта.

– Это Алик. Катя, помнишь меня?

– Конечно, помню. Что-нибудь случилось?

– Да. Случилось. Сеня, то есть Семен Георгиевич. У него рак. Он просил, чтобы ты приехала. Попрощаться. Билет доставят через час, если, конечно, ты согласна.

Катя молчала.

– Ты согласна? – с нажимом повторил голос.

«Шестерка Семена, такой же, как был», – с отвращением подумала Катя и ответила:

– Согласна.

Положив трубку, она свесила ноги с кровати и тут же услышала шорох за дверью.

– Мам, что случилось? – приоткрыла дверь Соня.

– Близкий мне человек умирает. Он попросил, чтобы я приехала.

– А я знаю его?

– Нет, – покачала головой Катя.

* * *

Он лежал в палате один, смотрел на тонкое апельсиновое дерево, которое покачивалось из стороны в сторону на фоне яркого голубого неба. Вспоминал, как любил гулять по узким улочкам Старой Яффы, пока еще были силы. Как мог часами сидеть в кафе на улице и наблюдать за пестрой толпой, в которой смешивались и дружно уживались люди разных национальностей и вероисповеданий. Такое количество «разномастных» людей он не встречал нигде: белокурые красотишки с вьющимися, как спираль, волосами, иссиня-черные бородки юношей, пепельно-серые окладистые бороды старцев. И рыжие, и черные, и русые – собранный со всего мира калейдоскоп людей, живущих в одной стране.

Больше всего поражала Семена сплоченность людей, объединенных общей угрозой и страданиями. Независимо, из какой страны ты приехал на новую родину, здесь тебе по-настоящему готовы прийти на помощь и встречают со словами: «Добро пожаловать домой!»

Яффа представляла собой музей под открытым небом, собрание уникальных древностей, но музей этот жил, спешил и не закрывался по вечерам. Будучи объединенной с молодым, динамичным Тель-Авивом, Яффа подпитывалась от его молодости, и сама молодела. Хотя Тель-Авив ей не то что во внуки не годился, скорее, был недельным зародышем во чреве человеческой истории по сравнению с Древней Яффой.

Семен часто ходил на рынок. Ароматы кружили голову: сладкий табачный дым кальянов, свежесваренный кофе, выпечка, пот грузчиков и пряные восточные духи женщин. Там его помнили, здоровались, делились новостями.

Сейчас любимый город был близко и в то же время бесконечно далеко. Так сложилось, что Тель-Авив стал его последней любовью. С его помощью он вытеснял из сердца любовь предпоследнюю и был так близок к успеху, но вот оказался прикован к больничной койке и понял, что не может больше врать себе: победил не город, победила Катя. С ней и только с ней он был бы счастлив в любой точке земного шара. Это ее он хотел провести по земле обетованной, ее запах пытался поймать в ароматном шлейфе проходящих мимо женщин, ее тонкий силуэт угадывал в закатных тенях, опускавшихся на старый город. Ее он предал и пытался отомстить на этой земле, у этого города. Он никогда не был романтиком, но посадил однажды эту занозу, не вытащил вовремя, и теперь она укоренилась под сердцем – ныла, саднила, нарывала.

«Приедет она все-таки или нет? А не приедет – и черт с ней!» – в сотый раз говорил Семен сам себе, и на этом «черт с ней» утыкался лицом в подушку, как маленький мальчик, которого только что обидел самый дорогой человек на свете – мама, и горе его бескрайне и неизбежно.

Хуже всего, когда в такие минуты его заставляла жена, разумеется, списывавшая старческую слезливость мужа на болезнь и неминуемую, как он знал, кончину.

Вся его власть, деньги, бизнес, увлечения рассыпались в прах перед лицом болезни. Теперь он с горькой усмешкой перекачивал сухими губами такие некогда общие слова «в могилу не унесешь». А что можно унести с собой в могилу? Катино прощание и прощение. Если приедет.

* * *

В зоне паспортного контроля Шереметьево-2 Катя растерянно стояла перед табло. Она всегда путалась в аэропортах и на вокзалах: мнительно перечитывала указатели, таблички и даже переспрашивала у последнего стоящего в очереди на регистрацию, куда он летит, чтобы не ошибиться рейсом. Электронной регистрации она тоже не доверяла, хоть и путешествовала часто – одна или с Соней. Мама, как всегда, предпочитала держаться особняком и летала отды-

хоть одна – в скучные и строгие европейские пансионаты и санатории, притом чем скучнее и строже, тем лучше. Катя давно поняла, что навязывать ей свое общество бессмысленно, и только оплачивала путевки как примерная и любящая дочь.

Она с тоской подумала о Соне. В этот раз на душе было тревожно, очень не хотелось оставлять ее одну: «Хорошо, что мама с бабушкой за ней присмотрят. Не забыть бы про мамину записку!»

Узнав, что Катя срочно летит в Израиль, мама даже не поинтересовалась придуманной ею наспех командировкой, зато быстро распорядилась заехать к ней по дороге в аэропорт и взять записку и отнести ее к Стене Плача.

Молодой пограничник в зеленой рубашке, не здороваясь, взял паспорт и долго изучал его, молча вскидывая глаза на Катю.

– Что-то не так? – не выдержала она.

– Дата рождения.

– Там же написано.

– Отвечайте на вопрос. Вы границу пересекаете.

Она ответила четко, как отвечала в студенчестве на экзамене по экономике.

– Ждите. Сейчас старшего позову.

– Молодой человек, посмотрите, на фотографии у меня очки и волосы распущены, а сейчас без очков и с хвостом, – Катя сняла резинку. Волосы цвета спелой пшеницы рассыпались по плечам. Сейчас, ранним утром и без косметики она действительно не выглядела на свои 42 года. Ей можно было дать не больше 30.

– Точно, Вы! – напряжение спало с лица пограничника, он смачно стукнул печатью и даже пожелал счастливого пути.

Все четыре часа полета она не сомкнула глаз, хотя, разбуженная посреди ночи тревожным звонком, намеревалась вздремнуть в самолете. Но как только закрывала глаза, она видела Семена, который представлялся ей могучей, исполинской фигурой, вдвое больше того Семена, которого она хорошо помнила.

Настоящий Семен и сам был не мал ростом. Широкоплеч и коренаст, весь в отца, которого Катя видела на фотографии. Мать его, черноволосая, кудрявая и смуглая, смотрелась девочкой на фоне этого мужчины. От нее Семен унаследовал живость ума и другие невидимые глазу качества, которые вознесли его на вершину успеха. Разумеется, вместе с такой же невидимой стороннему глазу помощью номенклатурного тестя, бывшего, по сути, главным приданным его жены Ларисы.

Думать про соперницу Кате не хотелось, поэтому мысли ее плавно перетекли к работе. Что как не работа – единственное утешение и спасение одиноких женщин, верный спутник и друг, который никогда не предаст и поможет материально? Тем более, для Кати работа была не просто рутинным исполнением постылых, скучных обязанностей, у нее был свой бизнес. Личный и успешный бизнес, в котором она была никакой не Кате, а владелицей собственного агентства недвижимости «Фостер» – Екатериной Суворовой. Мадам Суворовф для иностранцев, которые часто обращались в одно из первых в Москве агентств недвижимости.

Когда Катя работала, ее охватывал охотничий азарт. Она непременно хотела отыскать именно то, что нужно клиентам. И когда ей это удавалось, она чувствовала глубокое удовлетворение. На любой, даже самый абсурдный запрос клиента тут же предлагались варианты ответов, и в первой десятке поисковой выдачи можно было отыскать то, что хоть отчасти могло пойти в дело. Почти двадцать лет в бизнесе отняли у нее способность удивляться и взамен принесли более полезное – умение удивлять. И Екатерина Суворова удивляла тем, что находила идеально отвечающие всем требованиям клиентов квартиры за считанные дни, превращала десятилетиями царящую в них разруху в безупречный ремонт, а все препятствия и отягощения

устраняла безвозвратно – словом, творила и созидала жилищное счастье в центре Москвы, где одни хотели сдать жилье подороже, другие – арендовать повыгоднее.

Клиенты ее агентства оставались настолько довольны сервисом, что не было ни одной сделки, после которой Катю не отвели бы в один из лучших ресторанов Москвы. Самой же высшей благодарностью она считала приглашение в гости в новую квартиру. Однажды, на заре девяностых, жена генерального директора крупнейшей международной корпорации, открывшей представительство в России, француженка по происхождению, приготовила в ее честь шатобриан. Катя тогда даже не знала, что это название мясного блюда, а когда узнала, не могла поверить, что она ест полусырое мясо. Но больше всего ее поразил фруктовый салат, в который хозяйка дома положила свежую малину, купленную в Irish House на Новом Арбате, потому что больше нигде в Москве малины купить было нельзя, а дольки мандарина француженка собственноручно очистила от тоненьких прожилок.

За годы Катя скопила множество не только профессиональных знаний, но и живых человеческих историй, из которых можно было бы соткать пестрое и весьма причудливое художественное полотно.

Катя нащупала кнопку и откинулась в кресле. Подошла стюардесса с шампанским, поставила бокал на Катин столик и исчезла за шторкой. Катя сделала глоток и улыбнулась своим мыслям. Сколько забавных историй довелось ей услышать за эти годы, а в скольких поучаствовать! Взять хоть ее непутевую двоюродную сестру Марину, каждый раз пытавшуюся выгодно сдать квартиру очередного хахала на время совместного отпуска.

Ухажеры Марины менялись, но неизменно соответствовали главному критерию: москвич с квартирой. С иными практичная Марина не встречалась, поскольку сама приехала покорять столицу из Пензы. Серьезных отношений ни с кем не складывалось, может быть потому, что слишком уж быстро Марина входила в долгожданную для себя роль хозяйки московских квадратных метров и после двух-трех бурных ночей заезжала со своим потрепанным чемоданчиком к очередному жениху, не успевшему прийти в себя от такого блицкрига.

Если у потенциального кандидата в мужья оказывалась мама, счет любовной истории с совместным проживанием шел на недели, но и без этого досадного обременения дела как-то не ладились: ухажеров с московской пропиской давно испортил квартирный вопрос. Чуть только пелена любовных утех спадала с глаз, обнажая неумемную жилищно-коммунальную сметливость Марины, ее стоявшие у двери домашние тапочки в очередной раз должны были отправляться на поиски нового приюта.

Однажды за неделю до Нового года Кате срочно нужно было найти квартиру для девушки с редким для Москвы именем Сара. Она работала в Фонде Джорджа Сороса и прилетела в командировку из Израиля. Почти сразу после звонка Сары позвонила Марина.

– Привет, систер! Слушай, мы с Гией едем в Сочи, сдай его квартирку на пару недель. Только жилец нужен тихий. Ты же знаешь Гию, он в свою квартиру абы кого не пустит. Лучше одинокая девушка. Еще лучше – иностранка, чтобы бабосиков побольше срубить.

Кате очень хотелось помочь Марине и, хоть она и знала, что квартира Гии без ремонта и может не понравиться Саре, ответила:

– Хорошо, я поищу. Кстати, есть у меня одна девушка из Израиля... Я ей скажу, и, может быть...

– Веди! – скомандовала Марина, не дослушав, и положила трубку.

К назначенному времени Катя с Сарой пришли в квартиру. Сара оказалась скромной девушкой невысокого роста с роскошной копной черных кудрявых волос. Одета она была в по-настоящему потертые джинсы и серый безразмерный свитер, из-под которого из форм выступала только грудь.

Марина строго оглядела Сару и спросила:

– Чем занимаетесь?

– Поддержкой гражданских инициатив, – с сильным акцентом, тщательно подбирая слова, ответила Сара.

– Когда съедете? – спросила Марина.

Сара не поняла вопроса, Катя ответила за нее:

– Пятнадцатого января.

– Деньги вперед! – обрадованно ответила Марина. – Мы как раз к пятнадцатому вернемся. Только уговор: гостей не приводить.

Катя, а вслед за ней и Сара закивали головами. Марина, еще раз оглядев с ног до головы новую квартиросъемщицу, ехидно добавила:

– Особенно мужчин.

Гия молча сидел у стола и пристально изучал свои клетчатые тапки, иногда поглядывая на девушек.

Катя уловила его настроение и сказала:

– Гия, если ты не против, давайте подпишем договор, в котором я укажу паспортные данные, сроки и сумму.

– Да зачем нам договор? – только сейчас Марина повернула голову к Гие. Его голос прозвучал как-то глухо. Маринины выщипанные в ниточку брови поползли вверх.

– Поступай как знаешь, – ответил он и пошел курить на лестничную площадку.

Сара протянула деньги Марине:

– Вот здесь все деньги до пятнадцатого числа.

Марина, довольная, что все так быстро уладилось, наклонилась над своим чемоданом. В это время Катя уловила взгляды, которыми обменялись вернувшийся в квартиру Гия с Сарой... Она сделала вид, что ничего не заметила, но ничего не заметить было нельзя: между ними явно пробежала искра.

О дальнейших событиях Катя узнала от Гии, поскольку Марина на вопрос о том, что случилось, ответила кратко: «Сволочь!»

Вечером десятого января Сара собиралась в бар и сменила вечный серый свитер на тонкий, клюквенного цвета, который был очень ей к лицу. В дверь позвонили. Сара не ждала гостей, а потому испугалась, подкралась к двери и дрожащим голосом с сильным акцентом спросила:

– Кто там?

Ей ответил мужской голос, она не поняла, встала на цыпочки и увидела в глазок Георгия, то есть Гию. Узнав хозяина квартиры, который должен был вернуться только пятнадцатого, Сара испугалась еще больше, но все-таки открыла дверь.

Гия держал в руках огромную корзину с абхазскими мандаринами, яблоками из Кутаиси, сухофруктами и бутылкой «Киндзмараули». Поверх всего этого изобилия лежал большой сверток, завернутый в редкую для того времени «оберточную» бумагу – тонкую фольгу.

– Что это, я не понимаю?

– Это я курицу завернул, чтобы не остыла. Фольгу товарищ из ресторана принес.

Гия сделал шаг к Саре, протянул ей корзину, увенчанную расточавшей упоительный гастрономический аромат курицей, и проникновенно произнес:

– Мэри!

– Я – Сара, – уточнила она.

– Английский понимаешь? Ты и я – мэри, – объяснил Гия.

Сара поняла и захохотала, Гия тоже.

Они сели на пол, развернули курицу, открыли вино. И, как выяснилось позже, им было что праздновать: Сара и Гия были созданы друг для друга. Вскоре они уехали в Тель-Авив, у них родилось трое детей, Гия стал уважаемым человеком.

* * *

В эту поездку пограничники словно сговорились, или что-то в ней было не так. Не успела Катя убрать документы в сумку после паспортного контроля, как к ней подошла женщина в форме и по-английски попросила пройти за ней. Они зашли в небольшую комнату.

– С какой целью вы едете в Израиль?

– У меня близкий друг в больнице, я еду к нему.

– Где находится больница?

Катя достала из сумки листок с адресом, который продиктовал Алик:

– Клиника «Ассута».

– О, это лучшая клиника на Ближнем Востоке.

– Да, мне говорили.

– А почему вы едете к другу?

– Это близкий мне человек, почему я не могу к нему поехать? – огрызнулась Катя.

– Может быть, у вас иные цели визита...

Катя глубоко вздохнула и, сдержав близко подступившие слезы, ответила:

– Вы можете позвонить в клинику и узнать, есть ли у них пациент Береговой Семен Георгиевич.

– Я вам верю, проходите. Извините меня, – таможенница начала что-то объяснять про красивых русских дамочек, но Катя ее уже не слушала.

В зале прилета ждал водитель с табличкой «Суворов Катя».

– Пожалуйста, Вашу сумку. Машина здесь недалеко. Куда мы едем?

– Клиника «Ассута».

– Вы заболели?

– Нет, не я. Еду навещать близкого человека.

– Здоровья ему! И Вам здоровья. Вы не расстраивайтесь. Все будет хорошо.

– Нет, не будет, – ответила Катя.

Больница поразила ее современным дизайном. Безупречно чистый и просторный холл больше напоминал пятизвездочный отель. Через пару минут подошел куратор.

– Добрый день, – сказал он по-русски с легким акцентом. – Екатерина Суворова?

– Да, я приехала навестить... – как можно бодрее сказала Катя, но на последнем слове сорвалась от волнения.

– Да-да, я в курсе, вы к Семену Георгиевичу. Меня зовут Ефим, можно просто Фима. Идите за мной, пожалуйста.

Они пошли по коридору, одна из стен которого была полностью стеклянной и открывала прекрасный вид на небоскребы Тель-Авива, но Катя их не замечала. Посередине коридора она остановилась и тихо спросила:

– Врачи поставили окончательный диагноз?

– Да. У Семена Георгиевича мелкоклеточный рак легких с обширным метастазированием и агрессивным течением. Последняя стадия.

– Как же это могло произойти?

– Семен Георгиевич очень много курил.

– Да, это правда.

– Конечно, это одна из причин. Если бы точно знать, как и когда рак зарождается в организме, в нашей клинике не было бы доброй четверти больных, а может, и половины. Увы, мы уже имеем дело со следствием, а не с причиной.

– Есть хоть какая-то надежда? Еще можно что-нибудь сделать?

– Сожалею, но заболевание распространяется слишком быстро.

– Сколько ему осталось? – шепотом спросила Катя.

– Дня два-три. Сочувствую.

– Он знает?

– Да, мы всегда говорим нашим пациентам правду.

Перед тем как войти в палату, Катя закрыла глаза: «Только держись. Без слез...»

– Фима, я готова.

– Семен Георгиевич! – тихонько позвал куратор, приоткрыв дверь палаты. – Можно войти?

– Да заходите же быстрее. Сколько можно на пороге топтаться!

Услышав знакомые командные нотки в голосе, Катя обрадовалась: это был голос прежнего Семена. Она засунула руки поглубже в карманы брюк, вошла в палату и тут же до боли впила пальцами в ладони, чтобы не упасть в обморок.

В белоснежной постели лежал не Семен, а его половина или даже четверть – так высохла тело болезнь. Из капельницы по тонкой трубке непрерывно текла прозрачная жидкость.

Семен приподнялся, хотел что-то сказать, но закашлялся с такой силой, что лицо побагровело, вена на тонкой шее набухла и пульсировала, вторя спазмам удушья. Катя испугалась, что эта вена сейчас не выдержит и лопнет. Она подбежала к кровати и взяла его за руку. Он кашлял, а она сжимала сухую ладонь самого лучшего мужчины в ее жизни. Таким стало их приветствие после долгой разлуки, и самое страшное, что ничего уже не изменить, не повернуть вспять, не исправить.

Когда приступ прошел, Семен в изнеможении откинулся на подушку. Катя села на кровать и наклонилась так близко, что он мог разглядеть морщинки вокруг глаз, а потом прижалась к его исхудавшей щеке. На миг показалось, что мир замер, и сейчас они сядут в машину и поедут по извилистому серпантину над морем. Как раньше.

Катя тихонько всхлипнула.

– Не реви! – велел он.

– Я не реву.

– Нет, ревешь, а я не люблю спать на мокрой подушке.

Катя вытерла слезы и посмотрела в окно, где на ветру покачивало молодыми листьями апельсиновое дерево, словно приветствовало ее и прощалось с Семеном. И потом, когда застелют кровать, оно также будет смотреть в окно и кивать новому пациенту клиники, а Семена уже не будет. Вообще не будет. Никогда.

Об этом «никогда» можно думать, но осознать нельзя, тем более когда человек еще смотрит на тебя с затаенной в глазах болью, дышит. Живет.

Дверь без стука открылась, в палату вошла сухопарая дама с короткой стрижкой и мелким, хищным лицом, делавшим ее похожей на грызуна.

– Катерина приехала. Что-то ты раздалась, голубушка, – вместо приветствия произнесла она.

– Здравствуйте... – Катя не сразу сообразила, что перед ней жена Семена. Если уж она раздалась, то Лариса Владимировна за прошедшие годы изрядно высохла под знойным небом.

– Семен Георгиевич тебя ждал, ночей не спал.

– Никого я не ждал, – досадливо перебил ее Семен. – Хватит болтать.

Худой мир лучше доброй ссоры – Семен сам научил жену нейтралитету в отношениях со своими возлюбленными. Лариса уважала право альфа-самца на необременительные, полезные для здоровья загулы, блюла лицо семьи и оставалась законной супругой. Взамен Семен по давнему негласному уговору не давал интрижкам перерасти в нечто большее. Или, наоборот, Семен уважал право Ларисы, внесшей огромную лепту в зарождение его карьеры самым фактом своего рождения в правильной семье, на пожизненное замужество. Свою роль сыграла и бездетность Ларисы: единственная долгожданная беременность закончилась выкидышем.

Роман с Катей не был для Семена интрижкой, но, вписанный в канву многолетнего устраивавшего его образа жизни, закончился тем же «худым миром». Обе женщины оказались достаточно мудры, чтобы не ломать его ради «доброй ссоры» у одра умирающего. Катя по привычке немного робела перед Ларисой, оттого будто заискивала и обращалась по отчеству, хотя разница в возрасте у них была не так велика.

Поговорили о погоде в Москве и Тель-Авиве. Катя спохватилась:

– Лариса Владимировна, мама просила записку к Стене Плача отвезти и слушать не захотела, что это другой город и до Иерусалима семьдесят километров. Ведь ее можно с кем-нибудь передать. Я читала. Совсем необязательно самой туда ехать. Мне здесь важнее...

– Вот прям завтра и поезжай, – Семен положил руку на ее плечо. – Попроси у Бога за маму, за Соньку и за себя. Я тебя дождусь, обещаю. А сейчас закажи такси и поезжай в отель, на тебе лица нет. Устала, моя девочка, – Семен ласково погладил ее по руке.

– Конечно, поезжай, – неожиданно тепло поддержала Лариса. – Эти врачи еще плохо знают нашего Семена Георгиевича. Все сроки, которые нам тут обещали при поступлении, слава Богу, прошли. И ничего, держится. Правда, Сема?

Семен кивнул и посмотрел на Катю. В его взгляде читалось: «Поезжай, ничего плохого в твое отсутствие со мной не случится».

Выйдя из палаты, Катя услышала звуки музыки, показавшиеся ей здесь неуместными. «Неужели кто-то может так громко включить радио и слушать его, не считаясь с другими больными? – удивленно подумала она. – Куда смотрит руководство?»

Звуки нарастали, музыканты настраивались, и вдруг... «Да это же Чайковский! – воскликнула про себя Катя. – Вальс цветов из балета “Щелкунчик”!»

Она вышла в просторный холл и остановилась в изумлении, не веря своим глазам.

Посреди холла расположился целый оркестр. Вокруг него стояли больные, многие сидели в каталках. Люди слушали живую музыку. Одна пожилая пара обнявшись, покачивалась в такт.

Катя почувствовала, что задыхается. Отчего? От всего! Всего, что окружало ее в эту минуту. Тяжело, может быть, даже смертельно больные люди слушали Чайковского, в исполнении молодых музыкантов, которые специально приехали в больницу. Сухопарый старик аккуратно поддерживал свою партнершу в танце и вел ее так бережно, будто и весь мир, и она сама были хрустальными.

Катя вспомнила, как в ее детстве в День Победы танцевали ветераны в парке, куда они ходили с бабушкой. Тогда был праздник, торжество Победы, – и здесь, сейчас, на ее глазах происходило настоящее торжество – жизни над смертью.

– Доброе утро, – услышал Семен сквозь утренний сон. Он проснулся и зашелся в долгом кашле. Дежурившая у постели Лариса кинулась к нему. Он отстранил ее, выпил воды и строго спросил:

– Где Катя?

– Ты что, забыл? Она же поехала записку от мамы положить к Стене Плача.

– Ах, да! А это еще кто в дверях стоит?

– Нотариус. Ты же сам просил нотариуса. А с ним переводчик, Иван.

– Мы же на завтра договаривались!

– Сеня, не гневи бога, вот он сегодня смог. Прими его. А то он только через неделю потом сможет.

– Через неделю меня уж не будет. Ладно. Пусть заходит.

В палате стало тесно. Маленький седовласый нотариус в пенсне с большим потрепанным портфелем поздоровался на идиш с Семеном, за ним вошел рослый парень с рябым лицом. За ними протиснулся Алик и поспешил отчитаться:

– Вот, Семен Георгиевич, привел самого надежного нотариуса: Хейфец Шмиль Мотхен.

Нотариус, услышав свою фамилию, закивал головой, достал из портфеля бумаги с печатями, протянул их Семену и быстро залопотал на иврите.

– Что он говорит? Что это за документы? – со злостью сказал Семен. – Я же ничего не понимаю! И зачем это нужно делать на языке, который я не знаю! Чувствую себя полным идиотом!

– Сеня, только не переживай. Успокойся, – подскочила к нему Лариса. – Вот же Иван, он переведет все.

– Хватит! – рявкнул он на Ларису. – Помолчи, а? Хватит. Не гунди!

Лариса беспомощно посмотрела на Алика.

– Семен, ты же сам про завещание говорил, – начал Алик, – московское-то уже устарело и не имеет юридической силы.

Семен не успел ответить, зашелся долгим мучительным кашлем. Не знаящий русского языка нотариус уже понял, что возникли проблемы. Он подозвал переводчика и обратился к Семену. Хейфец внимательно следил за выражением лица клиента, дабы убедиться, что перевод правильный.

– Мой стаж работы 40 лет, – начал он и строго посмотрел в сторону Ивана.

Тот переводил слово в слово и в подтверждение корректности своего перевода кивал головой после каждой фразы.

– Я нотариус во втором поколении. Офис перешел ко мне от моего отца.

Семен внимательно слушал. Лариса помрачнела.

– Ни разу моя репутация не была запятнана. Я с большим сочувствием отношусь к тому, что мой брат при смерти, – он тепло и твердо посмотрел Семену в глаза.

– Да. Я вижу. Вы – честный человек. Меня в министерстве за глаза сканером называли. Подписываем, – сдался Семен.

– Если вы передумали, я не возьму никакой платы и уйду, – добавил нотариус и взялся за портфель.

– Нет. Оставайтесь. Вот свидетельства на собственность. Главное внимательно проверить все адреса и цифры.

Нотариус сел за стол у окна, разложил перед собой свидетельства. Семен хотел встать, чтобы подойти и объяснить, но сильнейший приступ кашля накрыл его с такой силой, что ему показалось: легкие вылетят.

Нотариус подбежал к кровати, взял Семена за руку и спросил по-русски:

– Я придет... зафтра?

– Какое зафтра? – с горечью ответил ему Семен.

Нотариус его понял, снова сел за стол и аккуратно разложил бумаги.

Семен устало прикрыл глаза и провалился в обычную теперь дремоту, уводящую его в бескрайний темный глухой коридор, в котором он шел на ощупь мелкими шажками без надежды найти спасительную дверь, ибо дверей в коридоре не было. Обратного его возвращали голоса врачей или Ларисы, которым все еще что-то было от него нужно. Однако Семен был им благодарен: если бы не они, он не дождался бы свою (как поздно он это осознал – свою) Катю.

В этот раз в полузабытии он шел по тому же коридору, но чувствовал Катино присутствие где-то рядом. Он даже протянул руку в робкой надежде дотронуться до нее, но ощутил лишь шероховатую и будто теплую поверхность стены. А Катя все-таки была здесь, но словно отделенная от него невидимой перегородкой. Впрочем, все в этом не имеющем конца коридоре было невидимым, даже он сам.

Семен остановился и прижался ладонями и лбом к стене. Странно, до сего дня он не чувствовал живительного тепла коридорных стен, или это Катино присутствие преображало его потустороннюю, но пока обратимую реальность. Он вновь открыл глаза, не понимая, сколько прошло времени, и взглянул за окно. За окном темнело. Нотариус все еще сидел за столом.

– Ну, что там у вас? – спросил Семен.

– Все готово, как Вы распорядились, – перевел Иван слова нотариуса.

– А где Лариса?

– Вышла кофе попить, – ответил Алик.

Нотариус принялся читать завещание. Иван переводил, на лбу у него выступили крупные капли пота, и он без конца вытирал лоб серым мятым платком.

– Чего это ты, Ваня, так разволновался? – спросил Семен.

– Уже шестой час сидим, Семен Георгиевич. Жарко.

– Понятно. Значит, это только меня знобит.

Чтение заняло больше получаса. Семен старался внимательно вслушиваться в текст, но слабо заглушаемая лекарствами боль накрыла свинцовым одеялом так, что он с трудом улавливал смысл произносимых нотариусом слов.

– Почему я не услышал, как он произносит фамилию Суворова? – спросил Семен, когда нотариус закончил.

– Была-была, вот дом на Николиной Горе и акции – все Суворовой, – ответил Иван.

Семидесятилетний нотариус тоже утомился, да и вид умирающего не добавлял ему оптимизма. И все же он спросил у Ивана, чего хотел Семен. Иван перевел: «Клиент спрашивает, где медсестра по фамилии Суворова, которая должна прийти на ночную смену». Нотариус удовлетворенно закивал и даже подмигнул заговорщицки Семену:

– Суворров, Суворров!

– Ну, слава Богу. Спасибо, дорогой, что сделал все честь по чести.

Иван положил перед Семеном документы. Семен старался как раньше, по-министерски твердо, поставить свою подпись. Но пальцы не слушались его, и первая буква С получилась кривой. Он сел поудобнее и, преодолевая слабость и боль, подписал все бумаги.

– Алик, отложи экземпляры для Кати вон в ту красную папку.

Пока нотариус собирал свой портфель, аккуратно складывая печати в отдельные ячейки, Семен откинулся на подушку. Его воля исполнена, и это главное.

* * *

Катя подошла к Стене Плача с женской стороны. Словно хвостики амадин, между святых камней виднелись сложенные записки. Каждая трещина, каждая щелочка в Стене были законопачены бумажками.

Сердце ее бешено стучало. Конечно, она много читала о Западной Стене и осознавала всю святость этого места, но не ожидала, что почувствует ее именно так: ошеломляюще разом, как накрывает морской волной, до самого центра того, что ощущаешь, как свое «я», где могут отзываться только личные переживания.

«Интересно, как поступают с записками в русских православных храмах?» – мелькнуло в голове. Она знала, что по иудейскому закону молитвенные записки не могут быть просто выброшены. По издревле заведенному обычаю рабби Стены Плача два раза в год вместе с помощниками совершает обряд захоронения записок с просьбами Богу на еврейском кладбище на Масличной горе. Это самый почетный способ обращения с записками.

Катя отогнала суетные мысли. Присутствие в мире Бога ощущалось тут настолько реально, физически, что тело само подсказывало единственно верное движение – хотелось прикоснуться к материальному воплощению Чуда, соединиться с ним. Стоящие прижимались лбом к стене. Историческая память намоленного места гипнотизировала, повелевала, и сама воля его была свята.

Величие иудейской святыни удивительным образом пробудило в ней детское чувство – такое же, как переулки Арбата. Она прислушалась к себе и подтвердила: это второе место в

мире, где душа ее вострепелась в самом подлинном и искреннем ожидании близкого чуда. Но если арбатские улочки и переулки возвращали ей веру в чудесное Сейчас (вот-вот зажгут огни на елке в темной большой комнате, по стенам заходят причудливые тени и дом преобразится, как сказочный замок), то выжженная солнцем Стена, как магнит, тянула из глубин памяти коллективное бессознательное – веру в чудесное Всегда. Абсолютное торжество Чуда на земле.

Она задумалась над тем, что должна попросить у Всевышнего. В душе дрогнули самые потаенные струнки. Кровная сопричастность трагедии иудейского народа дополнялась горечью осознания неотвратимой смерти Семена. Катя написала несколько строк. Достала листочек, который дала ей мама. Встала на цыпочки и положила обе записки как можно выше.

Двумя белыми лепестками на древней Стене стало больше, два голоса вплелись в общий молитвенный хор, обращенный к Спасителю, который по всем скорбит, всех слышит и всем поможет. И помощь эта придет в урочный час, у каждого свой.

Катя прижалась руками и лбом к теплому камню и стояла так долго, отдавая свою энергию Стене и наполняясь ее спокойствием и смирением. Она почувствовала Семена совсем рядом, так, что захотелось обернуться, но Катя уже знала, что он не вовне, а внутри нее. Близкие люди не уходят в никуда, они остаются с нами – эта банальная мысль открылась ей во всей своей простоте и истинности.

Наступит новый день, новый месяц и новый год без Семена, но где-то в вечности он всегда будет идти рядом с ней за руку, как много лет назад по дымчато-лиловому бескрайнему полю в Провансе вслед уходящему за горизонт Солнцу. А вечность – вот она, прямо тут, и начинается она внутри тебя. Внутри каждого человека. Иногда просто надо сверить свой внутренний хронометр со вселенским.

Вечером Катя вошла в палату и ахнула от удивления. Семен сидел на кровати и выглядел гораздо лучше, чем вчера. Катя кинулась к нему, обняла, поцеловала и радостно рассмеялась:

– Ты прекрасно выглядишь. Значит, помогло! Есть чудо! Я и за тебя просила.

– Вот и моя личная медсестра пожаловала. Может, поздороваяешься прежде, чем нести чушь.

– Привет! Но ты правда выглядишь отлично.

– Я как та лампочка, которая, прежде чем погаснуть, загорается ярким светом. Открой-ка вон ту красную папку, которая лежит на подоконнике.

– Что это? – Катя открыла папку. Кроме даты и знакомой подписи Семена она ничего не могла разобрать. – Здесь все на иврите.

– Завещание. Дача на Николиной, акции.

– Я не возьму, мне не надо, – запротестовала Катя.

– Бери, дура! – зарычал, как раньше, Семен. – Если тебе не надо – отдай моей единственной дочери!

– Так ты знал? Ты знал, что Соня твоя дочь?.

– Конечно, знал. Как, ты думаешь, она поступила в МГУ? Откуда брались подарки на ее дни рождения?

– А почему же... почему... почему ты не сказал мне? Я думала, может, это отец помнит обо мне и помогает.

– Твоя мать была в курсе. Я ей звонил, узнавал, когда тебя дома нет... Она передавала и деньги, и подарки.

– Почему ты был не с нами?

– Стоит напомнить, что это ты сбежала от меня.

– Я была полной идиоткой...

– Да и я не лучше. Сейчас прошу за себя, тогдашнего: прости ты меня за все, вольно и невольно причиненное. За то, что сделал, и что не сумел...

Катя закрыла лицо руками.

– Успокойся, – ласково сказал Семен и погладил ее по голове, как маленькую девочку – Теперь уже ничего не изменишь. Просто я казался себе умным, а был дураком. Это самая распространенная мужская ошибка.

– Я привезла тебе Сонькины фотографии, – спохватилась Катя и, всхлипывая, открыла сумочку. – Надо было взять ее с собой, чтобы она познакомилась с тобой!

– Ты с ума сошла? Чтобы дочь запомнила меня таким – умирающим больным стариком? Я бы не позволил... Покажи ей фото из Прованса. Помнишь, Алик нас фотографировал?

Семен надел очки и бережно взял фотокарточки: на одной Соня играет с котенком, на другой позирует с бабушкой в филармонии. Он долго разглядывал портрет Сони, сделанный в фотоателье. На нем она выглядела старше.

– Как же она похожа на мою маму... Особенно верхняя часть лица: глаза, лоб, широкие скулы...

Семен расспрашивал о Соне. Его интересовала каждая, пусть даже самая маленькая, деталь из жизни дочери: в каком возрасте начала ходить, с чем любила играть, какой цвет ей идет, носит она платья или, как вся молодежь, предпочитает джинсы. Он хотел представить ее, понять, чем она живет, какие книги читает, какую музыку слушает.

Катя подробно рассказывала.

– Она в бабушку, любит музыку, ходит на концерты.

– Как поживает Анна Ионовна? Я ею искренне восхищаюсь.

– Бабушка у нас на высоте, но уже не выступает, только на домашних праздниках играет для своих. Кстати, когда я выходила от тебя, в холле играл небольшой оркестр. Я так удивилась! Здесь принято давать концерты в больницах?

– Израиль – удивительная страна, и чем дольше живешь тут, тем больше это понимаешь. Да, это играли студенты Иерусалимской академии музыки и танца. Когда я еще мог вставать, выходил слушать их. И, знаешь, мне становилось легче... А Соня играет на каком-нибудь инструменте? Может быть, она пошла в твою бабушку и маму?

– Да, не в меня, – улыбнулась Катя. – Я-то целиком в отца – медведь на ухо наступил. Ну, на мне природа отдохнула и взялась за дело с новой силой. Представляешь, Соня нотную грамоту освоила к шести годам. Во время беременности я каждый день минут на пятнадцать включала кассету с Моцартом или Чайковским.

Катино лицо озарилось нежностью. Она инстинктивно, как тогда, когда носила Соню, погладила живот.

Семен не отрываясь смотрел на нее. Он схватил ее руку, прижал к груди. В его глубоко запавших, лихорадочно блестящих черных глазах стояли слезы.

– Дурак! Какой же я дурак!..

– Она упряма, как и ты...

– А молодой человек у Сони есть?

– Нет еще. Ей всего семнадцать.

– Я помню, сколько ей лет, – резко перебил ее Семен.

К огромному панорамному окну уже прильнула непроглядная, черная жаркая южная ночь. Больница спала глубоким сном: затихли звуки шагов, негромкий звон каталок с лекарствами, приглушенные голоса. В палате горел ночник. Казалось, они остались в мире одни.

– Почитай мне вслух, – попросил Семен.

Катя взяла с тумбочки книгу в твердом переплете: сборник рассказов Бунина. Открыла наугад на «Антоновских яблоках». Провела рукой по шероховатой странице. Она любила читать с листа и никак не могла привыкнуть к новомодной электронной «читалке».

– «Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести», – начала читать Катя.

– Как хорошо, – Семен прикрыл глаза. – Я и впрямь чувствую запах антоновки на Николиной горе. Яблоки падают на землю и возвышаются буграми. Сначала жесткие, а занесешь домой дозревать, положишь в плетеную корзинку на подоконник – такой аромат кругом. И куда, Катюша, уходят от нас эти простые радости жизни... Почему очевидны они только в детстве и старости? Знаешь, я так любил перебирать руками нагретую за день землю... А весной, как только сойдет снег, какое счастье увидеть крошечные стебельки подснежников! Ты знаешь, что французы называют их снежными колокольчиками?

– Нет, впервые слышу

Семен накрыл маленькую Катину руку своей большой сухой ладонью. Ночник над кроватью мягким светом выхватывал из темноты их фигуры. По углам палаты теснились причудливые тени, складывавшиеся в осенние яблони, которые сплетали свои ветви, качали листвою, бесшумно кивали, здороваясь с собратом – невидимым в темноте за окном апельсиновым деревом. В палате израильской клиники «Ассута» доживал погожие осенние дни старый яблоневый сад вокруг деревянного дома со скрипучими ступенями в таком близком сейчас Подмосковье, и Семен уходил туда, где нагретая за день сухая земля сыпется, как песок, сквозь пальцы.

Он слабо, уже оттуда, из родительского дома на Николиной Горе улыбнулся Кате и, с трудом подбирая слова, сказал:

– Есть... легенда, что... подснежник не только первый весенний цветок, он... самый первый из цветов. Когда Бог... изгнал Адама и Еву из Рая, на земле... была зима... Шли... Адам и Ева... по холодной и пустынной Земле... И только белый снег... сыпал им в лицо... Бедная Ева... расплакалась... Не от холода, а от сожаления... об утерянном Рае. Увидел Господь... ее раскаяние... И сжалился... Превратил несколько слезинок в нежные цветы... Чтобы они... утешили Еву и дали понять, что... Бог не оставил своих детей...

Острая боль не дала ему договорить, пронзила с такой силой, что показалось – тело разорвется на части.

– Не оставил... – успел повторить он.

Тишина оборвалась разом: мигающими лампочками на панели, вмонтированной в стену у кровати Семена, низким приглушенным воющим звуком, распахнутой настежь дверью, суетливым топотом. Катя, оцепенев, увидела все это мигом, одной секундой, без обычной последовательности действий.

Выгнувшийся в судороге Семен, взбесившаяся аппаратура и вбежавшие в палату врачи случились одновременно. Краем сознания она поняла, что больница только притворялась спящей, а врачи если и не караулили у двери, то бодрствовали в специальной комнате, не сводя глаз с подключенных к Семену датчиков, которых ни он, ни она старались не замечать в своей прощальной сказке.

Кто-то мягко, но настойчиво выводил Катю из палаты. Она так же мягко, но настойчиво пыталась ускользнуть. Не вырваться, а именно просочиться из рук, как вода, как бесплотный призрак, потому что вдруг словно перестала существовать и не чувствовала своего тела. Так полностью растворяются в происходящем на экране зрители кинотеатра, когда вся жизнь сосредотачивается в проходящей перед их глазами трагедии.

Будто сквозь пелену тумана она видела, как к груди Семена подключили датчики, как тело его дернулось и обмякло. Стоявший у постели врач повернулся к Кате и что-то сказал ей, но она увидела только шевеление губ, как будто между ней и врачом стояла толща воды.

– Он умер, – сказала врачам Катя и вышла из палаты, потому что Семена в ней больше не было.

* * *

Похороны состоялись на следующий день. По законам иудаизма хоронить следует как можно скорее. «Похорони его в тот же день», – сказано в Торе.

В небольшом темном зале без окон около гроба стояли Лариса, Катя и Сара. Алик и Гия – напротив.

– Прошу подойти ко мне самого близкого родственника покойного, – перевела с иврита слова раввина Сара.

Все, включая рыжебородого раввина, посмотрели на Ларису, но та отрицательно покачала головой и указала на Катю.

– У нее дочь от Семена. Пусть идет!

Катю качало от усталости, с минувшей ночи она ничего не ела и не сомкнула глаз. Она держалась изо всех сил, но ей стало еще хуже, когда она увидела в руках Алика бордовые розы. Ни у кого больше цветов не было. Сара и Гия смотрели на него осуждающе: Катя знала, что в иудейской традиции не принято приносить на похороны цветы. Похожие на бордовые капли крови, розы вызвали у нее приступ головокружения и тошноты. Она не просто не любила эти цветы – розы с детства ассоциировались у нее с чем-то дурным, тревожным, опасным.

Раввин тоже выразительно посмотрел на Аликовы розы. Гия, который хорошо знал традиции, вежливо, но настойчиво взял у Алика цветы и положил их на стоявший в углу столик.

На ватных ногах Катя подошла к раввину и замерла, не зная, что нужно делать. Только поглубже засунула руки в карманы своей черной накидки, сжала их в кулаки и впилась ногтями в ладони.

Раввин достал огромные ножницы. Катины волосы были собраны в хвост, и она уже было подумала, что он собрался остричь ее. Она покорно наклонила голову. Но раввин подозвал находившуюся в зале пожилую женщину и передал ножницы ей.

Женщина аккуратно надрезала Катину блузку справа, возле горла, и прошептала по-русски:

– Этот обряд называется криа – надрыв. Порви дальше сама, но не сильно, на длину ладони, и скажи про себя: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Судья истинный». Ты не должна снимать эту рубашку и мыться семь дней.

Катя послушно кивнула и даже благодарно сжала ее руку. Все встало на свои места, стало правильным, единственно верным. Конечно, она слышала про семидневный траур – Шива. В это время нельзя не только мыться и исполнять супружеские обязанности – Катя горько улыбнулась: с этим ей справиться проще всего, – но и работать, ходить в кожаной обуви... Ничего, все выдюжит ради Семена, ведь это последнее, что она может и должна для него сделать.

Исподлобья она бросила взгляд на Ларису. Та стояла в безупречно строгом платье благородного черного бархата, которое удивительно гармонировало с ее загорелой, словно выдубленной кожей. Очевидно, жертвовать им ради какого-то надреза с самого начала не входило в Ларисины планы. Удивительно, прошло меньше суток со смерти мужа, а Лариса уже так вжилась в роль вдовы, будто пробыла ею как минимум четверть жизни. Надо сказать, платье, вдовство и скорбная мина определенно были ей к лицу. Она словно родилась для того, чтобы стать вдовой.

Катя снова сунула руки в карманы и мысленно улыбнулась Семену, дымящему сигаретой на ступеньках своей старой дачи на Николиной. Она даже нашла в траве целехонькое яблоко с красным всполохом на боку, как румянец на щеке зардевшейся девицы, и бросила его Семену. Он поймал яблоко, стряхнул с него пыль, смачно надкусил и зажмурился от сковавшей уста кислинки.

– Чтобы не мылась! – погрозил ей пальцем Семен.

Она послушно склонила голову и поймала на себе одобрителный взгляд раввина, который читал у закрытого гроба главу из Тегилима.

Казалось, с ее вчерашней поездки к Стене Плача прошла целая вечность. А может, и правда, прошла... Время не всегда исчисляется часами, а пространство – километрами. Катя поняла это только вчера, а уже столько свидетельств получила...

Если Семен ушел, но не оставил ее, значит и отец, внезапно и бесследно исчезнувший из Катиной жизни, существует в одном из миров и, может, прямо сейчас ведет маленькую дочь за руку улочками Старого Арбата в их дом, где все были так счастливы. Надо только перекинуть мостик из настоящего в прошлое, чтобы заблудившееся в прошлом счастье смогло перейти по нему в настоящее – к Кате, Соне, маме Надежде и бабушке Анне Ионовне.

Глава II

Бедные девочки

Лицо обжигало палящим солнцем, было так жарко, как может быть только знойным августом в какой-нибудь пустыне. Аня изо всех сил пыталась представить себе пустыню: степенно проплывающие караваны верблюдов, ребристые, как поверхность стиральной доски, барханы песка и белесое от жары небо. Щеки ее горели, пылали, невыносимо зудели от жары. Не оставиваясь, она принялась на ходу растирать их залепленными снегом колючими варежками, как учила мама. Если горят, еще ничего; хуже, когда уже не чувствуешь – значит, отморозила.

Под единственным уличным фонарем на ее пути кружились мириады снежинок. Мести начало еще ночью, и к утру расчищенных с вечера тропинок было не разглядеть. Она шла наугад, иногда проваливалась в сугробы по колено, и тогда снег набивался в ее высокие валенки. «Жарко, как же мне жарко», – повторяла она про себя, пытаясь мысленно обмануть тело, которое отчаянно мерзло даже в двух рейтузах и повязанном поверх стеганого ватника шерстяном платке.

Каждый день к девяти часам утра Аня ходила учиться играть на фортепиано, и ни одна выюга в мире не могла сбить ее с привычного пути. Тем более сейчас, в конце декабря, в разгар подготовки к новогоднему концерту, который даст первый военный набор их училища перед труженниками тыла.

Пензенское музыкальное училище, куда Аня хотела поступать, в 1941 году закрыли, но в город приехала в эвакуацию ЦМШ – Центральная музыкальная школа Московской консерватории. В годы войны в Пензе работали заслуженные деятели искусств, профессора Теодор Давидович Гутман и Яков Израилевич Зак. Поистине лучших пианистов страны приютила в Великую Отечественную войну Пенза. В эвакуированной школе обучались будущие народные и заслуженные артисты – скрипач Леонид Коган, пианистка Вера Горностаева. Но тогда Аня этого еще не знала.

Приехавшие из Москвы ученики и учителя обживались на новом месте. Учеников расселили в здании Художественного училища, в огромных неотапливаемых залах с высокими потолками и окнами. Две комнаты-залы для девочек, две – для мальчиков младших и старших классов. Педагоги с семьями жили отдельно. Профессорам дали «теплые» комнаты, другим преподавателям – жилье попроще. На пятьдесят учеников Пензенского музучилища выделили пять роялей, за которые шла жесткая конкурентная борьба.

После занятий Аня не сразу уходила домой. Она оставалась в коридоре и с благоговением вглядывалась в лица спешивших по своим делам детей и взрослых. Когда же все расходились по классам и за закрытыми дверями раздавалась музыка, она вся превращалась в слух, застывала стрункой и сидела так возле двери до конца уроков.

– Ну, здравствуй, Филиппок! – весело кивнул ей однажды черноглазый подтянутый молодой человек, которого она часто видела в коридорах училища.

Аня вздрогнула и, наверное, убежала бы от страха, если бы знала, что это сам Гутман – ученик и ассистент великого Нейгауза, лауреат множества конкурсов, один из самых известных пианистов страны, чью игру она часто слышала до войны по Всесоюзному радио. В ноябре 1942-го Теодору Гутману исполнилось 37 лет, совсем недавно он стал профессором Московской консерватории и с началом войны был эвакуирован с учениками школы в Пензу. Вместе с Гутманом приехали жена и сын.

К счастью, фотографий Гутмана она не видела, а потому, собрав волю в кулак, пролепетала темноволосому красавцу:

– Здравствуйте!

– Я тебя постоянно возле своего класса вижу. Ты, наверное, хочешь научиться играть на фортепиано?

– А я умею, – тихо сказала Аня. – Но не так хорошо, как Ваши ученики.

– Проходи, – Гутман распахнул перед ней дверь. – Покажи свое мастерство.

Аня боязливо вошла в класс, села на краешек стула перед фортепиано. В Аниной семье играла мама – только для домашних. Она-то и учила их с сестрой Леной играть на пианино.

Гутман встал напротив, у окна, и скрестил руки на груди.

– Бетховен... – срывающимся голосом объявила Аня.

– Как тебя зовут, барышня? – перебил ее Гутман.

– Аня.

– А по батюшке?

– Анна Ионовна.

– Начинайте, Анна Ионовна, – махнул рукой Гутман.

До лета 1944 года Аня ходила заниматься в класс Теодора Гутмана, как он шутил, «воль-ноиграющей». Принять ее официально без конкурса и строгого отбора комиссии, который прошли ученики, Гутман не мог, но все же удаленность от Москвы позволяла делать послабления.

Как рассказали Ане ребята, педагоги школы, оказавшись без бдящего ока начальствующих профессоров вроде строгого Гольденвейзера, который не разрешал превышать программу, осмелели и предоставили ученикам некоторую свободу в выборе произведений. Каждый старался выбрать то, что потруднее, и это очень развивало технику игры. Занимались по принципу кто кого переиграет.

Аня подружилась с девочками из младших классов школы, которые жили в училище под присмотром педагога Фаины Григорьевны Кантор.

В годы войны Пенза стала городом эвакуационных госпиталей. Поезда с ранеными солдатами приходили почти каждый день, и учеников музыкальной школы отправляли на помощь.

Как и Москва, Пенза расположена на холмах, а железнодорожный вокзал внизу, у подножия самого высокого. Жилые дома, госпитали – километра три от вокзала в гору. Когда прибывал поезд, девочки бежали под гору на вокзал. Аня, самая маленькая, не уваливала, не отставала. Санитары клали раненых на брезентовые носилки, четыре девочки подхватывали их за палки по краям и несли в гору. Особенно тяжело было, если солдат весь в гипсе.

Помогали ученики музыкальной школы и в самих госпиталях. Струнники и духовики регулярно давали концерты.

С 1 сентября 1944 года в городе возобновило работу Пензенское музыкальное училище, куда Аню по рекомендации Гутмана приняли без экзаменов.

Зимой, особенно по утрам, в училище было очень холодно. В большом классе с огромными окнами стояло фортепиано, за которым чаще всего уже сидел Бенья. Он приходил на учебу еще раньше Ани.

Вот и сейчас Бенья сидел на своем месте, будто и не уходил вечером.

– Привет, Бенья! – привычно бросила Аня худому пареньку с черными выющимися волосами и круглыми очками на крупном носу.

Бенья покраснел от радости при виде Ани, но она этого не заметила: с мороза все приходило с пылающими щеками, шумно топали, отряхивались от снега...

– Доброе утро! – громыхнул ровно в девять часов утра властный голос учителя Надежды Александровны. – Молодцы, не опаздываете. Приступаем!

Готовя ребят к новогоднему концерту, она не давала им спуска. Нарочно выбрала одно из самых сложных произведений, которое по замыслу должно было стать заключительным в выступлении.

Финал Пятой симфонии Бетховена Аня и Беня играли в четыре руки. Беня же не Лист, чтобы сыграть это произведение соло, в одиночку.

Аня расстегнула ватник, сняла варежки, оставив на руках серые заштопанные перчатки. Сквозь рейтузы она чувствовала ледяную поверхность железного табурета.

С каждым аккордом музыка лилась все стремительнее. Холодный зал наполнился теплом и светом. Аня сбросила перчатки.

Близился заключительный аккорд, от которого у Ани всегда перехватывало дыхание и на глаза наворачивались слезы чистого, не сравнимого ни с чем в жизни восторга. Недаром наполеоновские гренадеры, оказавшись в Венской опере, при финальных звуках симфонии вскочили с мест и отдали честь. Аня победоносно взмахнула руками и тут же вскрикнула от неожиданности. На белых клавишах с ее стороны расплзались красные кляксы.

Аня вскочила. Беня растерянно переводил взгляд с окровавленных клавиш на Аню, не понимая, что произошло, как она поранилась.

– Боже мой, что это? – Надежда Александровна взяла Анину руку и повернула ладонью вверх.

Подушечки пальцев потрескались от мороза, из них сочилась алая кровь.

– Идите к медсестре, пусть она обработает перекисью. А вы, голубушка, будьте любезны, руки берегите! Это Ваша профессия, а не просто так... руки!

На следующий день перед уроком Надежда Александровна попросила ее:

– Пожалуйста, играйте в перчатках, когда на улице такой мороз!

– Но ведь в перчатках звук не тот... – возразила Аня.

– Вы только представьте себе, – грустно сказала Надежда Александровна, – впервые Пятая симфония прозвучала тоже в декабре. Это было двадцать второго декабря одна тысяча восемьсот восьмого года в Вене. В австрийском «Театр ан дер Вин» было очень холодно. Публика сидела в шубах. Музыканты повздорили с Бетховеном. Мало того, что они отказались играть в его присутствии, они играли так погано, что «Хоральную фантазию» им пришлось начинать с начала. Публика не приняла симфонию. – Надежда Александровна сделала паузу, потом продолжила, – если бы вы, мои дорогие, оказались в том времени, зал рукоплескал бы вам. Играйте без перчаток, Аня. Это Ваша жертва искусству. Где-то там, на небесах, в вечности, все слышат всех...

Концерт, к которому они так тщательно готовились, завершился овацией. Счастливой Ане казалось, что им рукоплещет вся Пенза. Пальцы у нее больше не кровоточили – Беня раздобыл ей барсучий жир, которым она смазывала трещинки.

Через пять месяцев закончилась война, а через два года в почтовом ящике родители Ани нашли письмо с московским штемпелем, адресованное их дочери. В нем Теодор Гутман приглашал Аню в знаменитую Гнесинку. Хотя далось ему это нелегко, профессор сдержал слово, данное любимой ученице при отъезде из Пензы.

После возвращения из эвакуации двери Московской консерватории по неведомой причине оказались для Гутмана закрытыми. Возможно, дело было в его учителе Генрихе Нейгаузе, бывшем директоре консерватории, арестованном в 1941 году за отказ от эвакуации и проведенном восемь с половиной месяцев во внутренней тюрьме на Лубянке. Так или иначе, случившееся стало для Гутмана неожиданным и серьезным ударом. К счастью, вскоре Теодор Гутман получил предложение преподавать в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, для которого как раз строилось в Москве новое здание.

Еще полвека будет учить пианистов Теодор Гутман, войдет в золотой состав педагогов Гнесинки и откроет стране немало блистательных имен, а одной из первых его учениц на новом месте работы станет Филиппок, Аня, Анна Ионовна – одна из самых любимых и талантливых.

Но все это будет потом, а пока, летом 1947 года, Аня стояла на перроне Пензенского железнодорожного вокзала в узеньком светлом плаще поверх накрахмаленной блузки и новой

полосатой юбки. Удовольствие от парадного вида портило одно неудобство: документы и деньги мама зашила ей в трусы, «чтобы не украли». Самодельный карман давил и, как казалось Ане, топорщился. И Бог знает, чему улыбались прохожие: ее молодости и свежести, с трудом купленным родителями обновкам или тем ценностям, что они скрывали.

Дерматинный чемодан с обитыми блестящей сталью уголками стоял рядом, в нем уместились и одежда, и белье, и сковородка с кипятильником. А еще мама завернула в холщовую тряпку и положила в резиновые сапоги два ломтя сала. Наверное, поэтому возле чемодана ошивалась огромная кудлатая дворняга со слезящимися глазами. Дворняга ожидала приплода, на что указывало ее отвисшее брюхо, и Аня с удовольствием отдала бы ей яства, таившиеся в бездонном нутре чемодана, если бы не мама, стоявшая рядом.

Мама нервничала. Папа погладил Аню по черным блестящим волосам, заплетенным в тугую длинную косу.

Аня огляделась по сторонам.

– Где же Леночка?

– Да, где она? – с тревогой спросила у отца мама. – Неужели так надулась, что не придет проститься с сестрой?!

– Вон она! – крикнула Аня и со всех ног бросилась к сестре, которая стояла к ним спиной и смотрела на дорогу, ведущую к платформе. – Леночка! Как же я буду скучать по тебе! Пиши мне. Пиши каждый день!

– Да. Хорошо. Иди уже, а то поезд без тебя уедет.

Аня кивнула, но все же топталась на месте. Она чувствовала себя виноватой перед сестрой за все: и за то, что именно ей написал Гутман, и за то, что она на хоть на год младше, но зато гораздо выносливее слабой здоровьем, да еще и перенесшей недавно брюшной тиф, Леночки. Последнее и стало решающим на семейном совете. Мать с отцом могли выучить в столице только одну дочку, и именно Аню казалось не так страшно отпускать в большой мир. Только поди объясни это Леночке: умом-то она все поняла, а вот сердцем... Ведь она тоже мечтала стать музыкантом, и стала бы, и, может быть, более талантливым, чем Аня.

Поезд дал гудок. Аня порывисто и неуклюже обняла сестру, чмокнула в щеку и побежала к вагону.

– Береги себя, – задыхаясь от слез, говорила ей мама, а отец обнял так, будто уезжала Аня на фронт, а не в прекрасную, исполняющую все мечты столицу нашей Родины.

Время в пути пролетело в волнениях. Поезд вез ее не просто в Москву, а в новую жизнь – широкую, бурную, стремительную, как полноводная река. Перестук колес слагался в песню, и Аня придумывала ей затейливое музыкальное оформление. Она была уверена, что оно понравилось бы Гутману, который любил импровизации.

На Казанском вокзале Аню должен был встречать старшекурсник, с которым договори-лась Надежда Александровна. «Как же я узнаю его?» – волновалась Аня.

Наконец, поезд остановился. Она с трудом вытащила чемодан из-под полки и поволокла по узкому проходу. Чемодан тут же застрял.

Аня вышла из вагона последней. Она тяжело дышала, щеки покраснелись, темные пряди волос прилипли к потному лбу. Как бы встречающий не испугался ее чемодана! Она растерянно вглядывалась в молодых людей на перроне, но все они не проявляли к ней никакого интереса. Может быть, он опоздал, перепутал вагон или просто забыл написать Надежде Александровне, что не сможет встретить Аню и помочь ей донести чемодан до общежития для поступающих.

Она хотела открыть сумочку и достать письмо Гутмана с адресом общежития, но с ужасом вспомнила, что письмо, как и паспорт, мама зашила в тот самый карман, из которого на людях ничего вытащить нельзя.

Аня постояла еще немного и, когда народ на перроне поредел, решительно взялась за ручку чемодана. Неожиданно мужская рука перехватила ее ношу.

– Прости, автобус подвел! – сказал знакомый голос.

Аня не поверила своим глазам и даже не сразу поняла, что перед ней стоит Беня, так сильно изменился он за те два года, что они не виделись. Он схватил ее за руку и сказал:

– Как я рад! Пойдем скорее.

– Скорее не получится, – показала она глазами на чемодан.

– Ого-го, ты приехала не одна, а с господином Чемоданом, – пошутил Беня и тут же серьезно добавил: – А я ждал тебя. Знал, что ты непременно приедешь. По-другому просто и быть не могло.

Москва распахнула Ане свои объятия и оказалась добра к ней. Она блестяще сдала экзамены и, как и Беня, стала студенткой. Он перешел на третий курс Консерватории, она поступила в Гнесинку. Музыка теперь окружала Аню повсюду: на занятиях у Гутмана и в разговорах с Беней, в каплях осеннего дождя и шелесте листвы на московских бульварах, по которым они с Беней гуляли до темноты. Даже, казалось бы, случайные встречи и события были наполнены музыкой.

В Москве у Бени жила тетка – и не где-нибудь, а в одном из «артистических» домов Брюсова переулка. Зимой Беня сделал Ане предложение, и тетка выделила молодой семье комнату, а потом и вовсе вышла замуж за вдовца-генерала и уехала жить в Крым. Через два года у Ани и Бени родилась дочь, которую они назвали Надеждой в честь учившей их в Пензе и соединившей в Москве Надежды Александровны.

Замужество и рождение малышки не изменили главного в Аниной жизни – любви к Теодору Гутману, которую она пронесла через всю жизнь и о которой знал единственный человек на земле. Сама Анна Ионовна.

* * *

«Надежда Грувер», – наконец-то нашел на одной из афиш Александр Суворов. Единственное знакомое имя, остальные слова складывались для него в неразрешимую задачу с бесконечными неизвестными, решить которую казалось не под силу даже ему, кандидату физико-математических наук. Как истинный физик, он был чужд лирики, к которой относил и музыку.

Александр Борисович смотрел на мир уверенно, действовал целеустремленно и никогда не останавливался на достигнутом. Уже в пятнадцать лет он экстерном окончил школу в Витебске и, сдав вступительные на отлично, поступил в Физтех. Поначалу друзей в институте у него не было, да и откуда им было взяться, если веселым студенческим развлечениям он предпочитал чтение математических трудов. Однако со временем, когда научный потенциал молодого ученого стал очевиден окружающим, круг общения Александра заметно расширился. Физики, для которых он занимался матобеспечением, стремились публиковать работы в соавторстве с Александром. Многие ученые восхищались его оригинальными работами и считали за честь поработать с ним.

Высокий, статный Суворов с легкостью покорял труднодостижимые научные высоты, а сам и вовсе являлся высотой недостижимой – для юных студенток и степенных научных сотрудниц, напрасно вившихся вокруг обаятельного математика. За обаянием и улыбкой Александра скрывался железный характер, полностью соответствовавший его фамилии. «Суворов у нас суров», – любил шутить заведующий кафедрой, на которой работал Александр, и которую ему прочили возглавить в будущем.

Наука была смыслом его жизни, а он для науки – движущей силой, и все, что не вписывалось в рамки главного интереса, ему мешало. Конечно, любопытные кумушки с кафедры давно

развели и не единожды обсудили за чаем, что иногда видели Суворова с некой ухоженной, модной дамой, чуть ли не идущими под ручку.

«Небось, замужняя, а ему, сухарю, для здоровья надо», – постановили кумушки, не знавшие о том, что это всего лишь двоюродная сестра Суворова, с которой у того и правда были дружеские родственные отношения. Сестра и правда была замужем, счастливо и весьма удачно – за дипломатическим работником. Изредка Суворов составлял сестре компанию на концертах классической музыки и вежливо дремал в кресле под убаюкивающие мелодии, сожалея о такой пустой и бессмысленной трате времени.

Теперь же, изучая афиши, Александр был несказанно рад этим принесенным в дар искусству жертвам. Благодаря им он хотя бы знал, где искать в огромной Москве не оставившую ему номера телефона Надежду Трувер.

Несколько дней назад Суворов ходил в МГУ на лекцию видного математика из ГДР. Приезд зарубежного гостя вызвал ажиотаж, и желающих посетить лекцию оказалось столько, что не все вместились в актовом зале, в связи с чем решено было провести еще одну лекцию на следующий день.

Из зала Александр вышел крайне раздраженным. Он не мог понять, почему слушатели пребывали в таком восторге и почему никто не видел или не хотел видеть, что теория зарубежного гостя серьезно хромает как минимум по нескольким основным пунктам. Суворов пытался что-то доказать, но его никто не хотел слушать, а потом и вовсе пригрозили выгнать, если он не перестанет перебивать лектора.

«Я им покажу!» – сердито думал Суворов. На выходе он видел восторженные лица и слышал исключительно положительные отзывы о лекции, что выводило его из себя еще больше. Прорываясь сквозь толпу на лестницу, он заметил хрупкую девушку, которая выглядела еще более сердитой, чем он, если это было возможно.

Александр изменил своему правилу не заводить первым разговоры с незнакомыми учеными дамами и решительно направился к ней.

– Я вижу, Вам тоже не понравилась лекция! Какое счастье, я думал, тут вообще никто ничего не понимает! Не знаю, почему этого человека называют ученым будущего, он не предложил ничего нового, его утверждения противоречат друг другу, а так называемые «новаторские» методы исследования – это же чушь! Я так рад, что Вы это тоже поняли! Я Александр, а как Вас зовут?

Девушка какое-то время молча на него смотрела, потом сухо ответила:

– Надя.

– Надя, над чем Вы сейчас работаете? Уверен, мы вдвоем точно разнесем теорию этого псевдочеловека в пух и прах! – глаза Александра горели в предвкушении интересной беседы.

Надя снова ответила не сразу. Казалось, она пыталась сдержаться, чтобы не сорваться: на щеках ее выступил румянец, светло-голубые глаза заблестели. Потом она не выдержала и выпалила:

– Завтра в ЦУМе будут сапоги с утра, а вам тут подавай вторую лекцию!

Александр опешил и в изумлении уставился на нее, пытаясь сопоставить и найти логическую связь между лекцией по математике и какими-то сапогами. В том, что девушка не шутит, сомнений у него не возникло, ведь в глазах ее стояли настоящие слезы, как у обиженного взрослыми ребенка.

– Что смотрите? Я Вам что, музейный экспонат или интеграл какой-нибудь? – резко сказала Надя и раздраженно смахнула слезу со щеки.

– Простите, я не понял, что произошло? Я чем-то Вас обидел? – пробормотал Суворов. Надя сделала глубокий вздох и ответила:

– Простите, я не должна была на Вас срываться. Все как с ума сошли с этой лекцией, подавай Вам вторую завтра! Я переводчик в делегации вашего немца, хотя вообще пианист.

Подруга заболела и просила меня подменить, я немецкий ничуть не хуже знаю. Но мы на один день договаривались! А теперь из-за вашей глупой математики мне зимой в валенках ходить?

Глаза Надежды снова заблестели, губы задрожали, она развернулась и побежала в сторону дамской уборной.

Когда Надя вышла, Александр стоял на прежнем месте.

Надя рассмеялась. На щеках у нее появились очаровательные ямочки, и Суворов окончательно смутился.

– Черт с ними, с сапогами... Извините, просто очень расстроилась.

– Ничего страшного, – пробормотал Александр.

– Надежда Грувер, – протянула она ему руку. – У меня через несколько дней концерт, приходите.

Растерявшийся Суворов впервые в жизни не уточнил условия задачи: где, во сколько и, собственно, что за концерт собирается дать пианистка Грувер, видимо, считающая одну свою фамилию уже достаточным опознавательным знаком.

На следующее утро он проснулся, думая не о работе. Такое тоже случилось с ним впервые, по крайней мере, в сознательной жизни. Он никак не мог забыть эти ямочки на щеках и небесно-голубые глаза. И вот теперь стоял в очереди за билетом на ее концерт. Надежда Грувер действительно оказалась довольно известной в Москве пианисткой.

На концерт Александр пришел с букетом белых роз в руках и чеком в кармане. Чеком в фирменный магазин «Березка», который ему выделила двоюродная сестра. В эпоху всеобщего дефицита этот чек означал то, что презиравший дотоле романтику и мещанство математик Суворов отправился на концерт не только с розами, но и с сапогами.

* * *

Скорая свадьба никак не повлияла на работу Суворова, разве что при мысли о жене физик мгновенно становился лириком. Он все так же с головой уходил в науку, но теперь с нежностью думал о том, как придет домой, где его ждет Надя, или сам ждал ее после концертов. Иногда он думал о том, что если чего и не хватало в их семейной идиллии, так это хоть немного рациональной физики: столь эмоциональной и экзальтированной подчас казалась Надежда, но ведь на то она и артистка, чтобы жить чувствами.

Через год родилась Катя – вылитая папина дочка: те же карие глаза, пышные, чуть выющиеся русые локоны. Ради этой маленькой девочки Александр готов был свернуть горы и достать Луну с неба, даже если это противоречило законам математики. Лишь бы она была счастлива!

«Мои девочки», – говорил Суворов о жене, дочке и даже немного о теще Анне Ионовне, с которой ему тоже несказанно повезло, хотя бы потому, что он, хоть убей, не понимал, что смешного можно найти в анекдотах, которые начинались со слов: «Приехала теща в гости».

До рождения Кати молодая семья жила у Анны Ионовны, души в зяте не чаявшей. Своей целеустремленностью он напоминал ей рано ушедшего из жизни супруга: Бенья тоже жил своим призванием и буквально до последнего дня преподавал в Консерватории, ученики приходили и на дом, последнее занятие он дал за три часа до обширного инсульта.

Надежда в музыкальной карьере пошла по стопам отца и матери, но еще не достигла тех высот, что покоряются с годами, хотя и унаследовала родительские таланты, так счастливо в ней соединившиеся. Яблоко упало под яблоней, да не под одной, а под двумя сразу, и природа тут не то что не отдохнула, а напротив, умножила отмерянные человеку щедроты. Ее ждало блестящее будущее, в чем не сомневался никто, включая всегда строгую и объективную даже к близким Анну Ионовну.

С рождением дочери Надежда немного утратила девичью хрупкость, но расцвела подлинной женской красотой, заставлявшей поклонников видеть в ней уже не девочку, но гранд-

даму и обращаться к ней по имени-отчеству. Правда, отчество у нее неожиданно для близких изменилось. Однажды Надежда Бенционовна объявила матери и мужу, что теперь она Надежда Борисовна, а кто старое помянет... Зная ее крутой нрав, лишних вопросов ей не задавали, и так было понятно, что на афише новое отчество будет смотреться лучше, а при решении вопроса о заграничных гастролях – убедительнее. Надежда находилась на самом взлете карьеры, и каким будет ее пик, сложно было представить даже в самых смелых мечтах.

«Одна Надежда отобрала надежду у многих», – шутил теперь старенький завкафедрой, а институтские кумушки все так же пили чай и обсуждали теперь блистательную пару, которой к тому же по протекции руководства дали отдельную квартиру не где-нибудь, а на Арбате – с учетом будущей, совсем скорой, докторской диссертации Александра Суворова.

Квартира сразу понравилась молодым, и так же сразу не понравилась Анне Ионовне.

«Что-то здесь не так», – твердила она сама себе и не находила ответа на вопрос, чего ей здесь не хватает. Просторная кухня, большая гостиная с эркером, правильной формы три комнаты: кабинет, спальня для родителей и детская для Катюши. Живи и радуйся, но это «что-то» как будто ходило за ней по пятам и шкодливо пряталось по углам, как только она оглядывалась.

– Сашенька, а других вариантов не предлагали? – робко, не узнавая саму себя, спросила Анна Ионовна у зятя.

– Какие другие варианты, мама?! – набросилась на нее Надежда. – Блочный дом в спальном районе? Мама, ты с ума сошла, это же Арбат – лучшее, на что можно рассчитывать. В центре была еще одна квартира – на Тверской, совсем рядом с Кремлем, но там метраж маленький – нам не подходит. Уже Катя подрастает, ей отдельная комната нужна.

– Правильно, а если еще второй... – сказал Александр и приобнял жену за талию.

– Не фантазируй, – грациозно выскользнула Надежда из объятий мужа. – Конечно, в первую очередь я – мать, но все же еще пианист, а не героиня. Хотя... возможно, в будущем.

В будущем – словно взрывной волной ударило Анну Ионовну. Так беспросветно на душе у нее не было никогда, даже в самые тяжкие военные годы. Будущее – ключевое слово: его-то, будущего, она и не чувствовала в этой квартире.

Почему-то ей вспомнилась история из довоенного пензенского детства. Был у них в городе один «плохой» дом – бывший польский костел. Родители рассказывали ей, что строили его на средства верующих, а внутри храма находился склеп, в котором хоронили священников. После революции добротное здание не стали взрывать и устроили в нем Клуб строителей. Позже, уже в пятидесятых годах, когда Аня с Беней приезжали в Пензу в гости, костел превратили в Дом учителя. Они даже давали там совместный концерт для ребятишек, обучавшихся в кружках.

Однако ни детские кружки, ни народный театр, ни вечера отдыха не могли стереть из памяти горожан страшную историю, которую Анна Ионовна знала с детства.

Одни поговаривали, что после Гражданской войны пензенские чекисты исследовали подполье храма. Якобы в подвал спустился целый вооруженный отряд, и наружу бойцы вышли в полном составе, но все поседевшие. Что увидели сотрудники НКВД, неизвестно, но на следующий день вход в подвал, где находился склеп, был спешно замурован. Другие утверждали, что в лихие годы в подвале Дома учителя были расстреляны и закопаны несколько контрреволюционеров. Считалось, что это место проклято, и по ночам там были слышны вздохи, плач и скрип ступенек под чьими-то тяжелыми шагами. Оттого не задерживались там сторожа.

Наверное, это была просто мнительность, но тогда, во время выступления, у Анны Ионовны ни с того ни с сего закружилась голова, к горлу подступила тошнота и в глазах потемнело. Она вспомнила, как мать хватала их с Леночкой за руки и переводила на другую сторону улицы, когда они оказывались вблизи костела.

– А в чем плохой дом виноват? – как-то спросила Леночка.

– Дома ни в чем не виноваты, – ответила ей мать. – Виноваты зависть и злоба, которые поселяются в душах людей и отравляют, пропитывают собой все вокруг.

Сейчас Анне Ионовне захотелось так же взять за руки своих девочек – Надю и Катю – и увести из арбатского дома, хотя она точно знала, что дома и правда ни в чем не виноваты.

* * *

Кате новая квартира понравилась сразу: она гоняла на детском велосипеде по длинному коридору, благо под ними на втором этаже, как выяснилось, жила глуховатая старушка, искренне удивлявшаяся извинениям новых соседей.

В Катином распоряжении оказалась собственная комната, выходившая окнами в уютный зеленый дворик. Она распланировала и обустроила ее с обстоятельностью, свойственной серьезным пятилетним девочкам: кукольное семейство со всем скарбом, отряд плюшевых медведей, книжки, грампластинки расположились на своих местах так удобно, что даже взрослые дались диву. И расстановкой мебели в своей комнате и во всей квартире командовала маленькая Катя.

– Да у моей дочери глаз и хватка, как у прораба, – смеялся отец. – Вот проживем тут лет десять и ремонт ей доверим.

В доме стали часто бывать гости. Александр и Надежда были красивой, яркой парой, а собственная квартира на Арбате дала им возможность устраивать, как сказали бы раньше, приемы. Руководила ими, конечно, блистательная хозяйка дома, хотя Александру Борисовичу и маленькой Кате отводилась на них главная роль. Папа и папина дочка неизменно были единой душой компании. «Суровый Суворов» дома менялся до неузнаваемости, и «его девочки» крутили им, как хотели.

Несколько раз в год к ним приезжали пензенские родственники: сестра бабушки Елена Ионовна с внучкой Мариночкой. Маму Мариночки маленькая Катя никогда не видела, но запомнила с горечью оброненное однажды Еленой Ионовной слово «беспутная» и, чутьем уловив, что оно плохое, про себя решила, что ее оставляют дома в Пензе за плохое поведение.

Обычно Елена Ионовна и Мариночка останавливались у бабушки в Брюсовом переулке, но с появлением у Суворовых собственной жилплощади Марину иногда стали оставлять у них. Особенно об этом просила Катя, которая хвостиком вилась за Мариной и не хотела расставаться с ней даже на ночь. Марина была старше, училась в школе и снисходительно глядела на Катини куклы, но все же еще оставалась ребенком: посидев с важным видом на диване в гостиной, она вскоре забывала о том, что собиралась выглядеть взрослой и охотно поддерживала все Катини затеи. У обеих не было ни сестер, ни братьев, и они единогласно, не сговариваясь, считали себя сестрами, чему все родные были только рады.

Подрастая, Катя часто вспоминала то счастливое время и мысленно обходила с ревизией все, даже самые потаенные уголки памяти, пытаясь найти, нащупать, осознать, когда же все сломалось, почему исчез отец, что она сделала не так. Уже взрослая Катя усердно трясла калейдоскоп своей детской памяти, но та была капризна и избирательна. Отрывочные картинки жизни в арбатской квартире складывались в разнообразные узоры, но не давали ответа. Пазл не складывался.

Иногда казалось, что-то припоминается, проглядывает сквозь туман времени... Увы, это всегда были только догадки, не настоящие воспоминания, а лишь тени. За этими тенями Катя слышала, вернее, угадывала звук быющего стекла. Он сопровождал почти все ее воспоминания, когда она подбиралась к ним слишком близко. Так раз за разом разбивались ее надежды докопаться до истины.

Катя запомнила этот огромный дом, где было много комнат. Ей пять лет. Она идет по длинному темному коридору.

Заходит в одну комнату и видит крошечного скрюченного ребенка, изнемогающего от наркотической «ломки». Его маленькие пальцы тянутся к Кате, лицо сморщенное, он похож на древнего старика или хоббита.

Ребенок ангельским голосом начинает петь «Как на тоненький ледок / Выпал беленький снежок».

Он кружится по комнате, нелепо переставляя скрюченные ножки. Его рваная маечка задирается, обнажая спину, похожую на старую стиральную доску из...

Катя выбегает и оказывается в другой комнате, где плачут от голода двое детей – девочка и мальчик, они лежат на черном от грязи полу с болезненными язвами на телах. Катя, не в силах видеть это, бежит по коридору дальше.

Она ищет папу, его нигде нет. В их доме много людей. Чужих людей! Все ходят туда-сюда, толкаются. Посередине комнаты стоит их стол, Катя узнает его. На нем много еды. Катя улавливает запах ненавистных ей шпрот. Она закрывает нос руками и бежит в туалет. Ее тошнит. Она боится этого. Наконец-то она дошла до ванны, где прополоскала рот и умылась.

«Но где же папа?» – Она бесконечно задает себе этот вопрос. Кто-то обнимает ее сзади, она узнает родной и любимый запах. Это папа, он не бросил ее. Он не умер. Какое счастье!

– Папа-папа, – прошептала она. – Прошу тебя, не уходи.

Катя с трудом открыла глаза. Ее лихорадило. «Нет, так продолжаться не может. Я больше не выдержу».

По рекомендации друзей Катя записалась на прием к молодому психологу Михаилу Лабковскому. «У него – большое будущее!» – вспомнила Катя, робко постучав в дверь кабинета.

– Можно войти? – она тихонько приоткрыла дверь.

– Нужно! – весело ответил ей приветливый человек с внимательным, спокойным взглядом.

Катя стеснительно замерла на пороге. Она ожидала увидеть будущее светило в белом халате и очках в толстой роговой оправе. Как должен выглядеть настоящий психолог, она не знала, но почему-то представляла его себе именно таким, и уж никак не привлекательным, подтянутым мужчиной в облегающей черной футболке и стильных джинсах.

– Что Вас привело ко мне? – спросил он вместо дежурного вопроса о самочувствии. – Присаживайтесь!

Катя села в удобное кресло и сложила руки на коленях.

– У меня все хорошо, – начала она заготовленную речь. – Хорошее образование, любимая работа...

– Скажите, Катя... Можно я буду Вас так называть? Почему в солнечный день Вы пришли ко мне в темном платье с глухим воротом?

– Мне кажется, оно мне идет.

– Несомненно, но что-то Вас гложет. Я же вижу. Цвет и фасон платья – это тоже сигнал, который Вы неосознанно посылаете миру. Вы же пришли за помощью.

Говорил он мягко, убедительно, но без улыбки, и все же Кате казалось, что внутренне он улыбается: понимающе и немного грустно.

Словно прорвав плотину, полились слова. Уже не сдерживая себя, Катя расплакалась, как маленькая девочка.

Судорожно всхлиывая и смахивая набегающие слезы, она рассказала ему, что может часами бродить по Арбату, что боится, когда бьется стекло, и ненавидит бордовые розы. От Лабковского она впервые услышала термин «панические атаки», которыми он объяснил сердцебиение, испарину и беспричинный ужас, испытываемые ею при звуке бьющегося стекла.

– Я не знаю, где мой отец, что с ним, почему он оставил нас с мамой и не помню, где я жила до расставания родителей. Ищу этот дом. Ищу квартиру на Арбате и не могу найти.

- У Вас есть родные?
- Конечно, бабушка и мама.
- Бабушка Вам ближе, чем мама?
- Да! Откуда Вы знаете?
- Вы сами только что это сказали. Может быть, Вам спросить у них?

Катя изумленно посмотрела на психолога. Разумеется, это было самое простое решение, но оно даже не приходило ей в голову. Она не ответила – не знала, как объяснить ему, а главное, самой себе, что мать давно стала для нее чужим человеком. Когда? Это воспоминание тоже терялось в глубинах памяти. Когда-то очень давно, в детстве.

– Я уверен, Вы найдете разгадку, – убежденно сказал Лабковский. – Слушайте свою интуицию, она приведет Вас к ней. Доверяйте своим чувствам, ощущениям. Бывает достаточно одного элемента – звука, жеста, изображения, чтобы активировать нашу память и понять прошлое.

Потом Катя не раз посещала Лабковского. Она жалела, что не может привести к нему мать, которая с возмущением и наотрез отказалась от услуг «психиатра».

Разговоры с психологом очень помогали Кате, после них она как бы примерялась со своим детством. В памяти всплывали картинки, разговоры и чаще всего разговор с бабушкой.

- Бабуль, почему я здесь? Где мама? Папа?
- Не волнуйся, все хорошо. Ты немножко приболела, и мама привезла тебя ко мне.
- Когда я поеду домой?
- Катенька, погости уж у бабушки, пожалуйста! Я вот тебе сырники приготовила.
- А когда мама придет?
- Она в санаторий поехала. На пару недель, а если понравится, так и на месяц.
- Значит папа придет!
- Пока ты болела, папа уехал.
- Куда?
- В командировку.
- А когда он вернется?
- Не знаю...

Та маленькая Катя легла в постель, отвернувшись к стене и с головой накрылась одеялом.

- А как же сырники?
- Не хочу сырников! И вообще есть не буду, пока меня не заберут домой.
- Значит, умрешь с голоду?
- Так долго не заберут? – Катя рывком снова села на кровати.

– Долго. Ты теперь живешь со мной, и точка! – неожиданно резко сказала Анна Ионовна и поспешно прикрыла дверь в комнату, словно испугавшись саму себя: так с внучкой она еще не разговаривала.

К вечеру они с бабушкой помирились и сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, укрытые пледом. Перелистывали тяжелый альбом со старыми фотографиями. Катя гладила его бархатную обложку, похожую на бока плюшевых медведей, которые тоже почему-то переехали в Брюсов переулок вместе с ней, как будто и они заболели.

- А почему на фотографиях все коричневые?
- Раньше такие делали. Ах, как быстро жизнь прошла...
- Что ты, бабуль, ты у меня самая молодая. Меня даже подруга Лилька спросила: «Это твоя мама?» Не поверила, что бабушка. А потом говорит: «Красивая! На артистку похожа».

Анна Ионовна рассмеялась, обняла Катю и поцеловала в макушку.

- А это где?
- Это могила дедушки.
- Почему же на ней не по-русски написано?

– Это еврейское кладбище – в Малаховке, под Москвой. Мы же с тобой, маленькой, туда ездили. Забыла? Ах, как играл твой дедушка... Ой, заболталась совсем, я же бульон варю!

Когда Анна Ионовна вернулась в комнату, вытирая на ходу руки о передник, Катя все еще рассматривала фотографии.

– А здесь тебе сколько лет?

– Лет пять, наверное.

– Это в пансионате в Славянске?

– Точно, там.

– Расскажи, как ты пела, очень прошу. Пожалуйста!

– Да уж в который раз...

– Ну, бабуль!

– Хорошо... Вечером мы с мамой, как и все отдыхающие, пошли в летний театр. Там выступал ансамбль песни и пляски. И вот они завели марш Буденного: «Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ...» – запела Анна Ионовна чистым красивым голосом.

– Ну а дальше?

– Я залезла на стул и запела вместе с ними, маршировала еще, как они. Не села, пока не допела до конца.

– И тебя никто не заругал?

– Наоборот, мне аплодировали, а потом в столовой, когда встречали меня, говорили: «Вот она, наша артистка»!

– Вот еще дедушка, – сказала Катя и вдруг замерла, пораженная неожиданно пришедшей в голову мыслью.

– Что ты, Катюша? Что случилось?

– Почему у тебя только фотографии дедушки Бени, а где дедушка Борис?

– Какой Борис? – опешила Анна Ионовна.

– Но ведь мама – Надежда Борисовна. Значит, ее папу звали Борисом! Где он?

– Катенька, – обняла ее Анна Ионовна и тяжело вздохнула. – У твоей мамы один отец – музыкант Бенцион Грувер. Она изменила отчество.

– Зачем?

– Когда вырастешь, сама все поймешь...

Катя продолжала листать альбом.

– А вот ты с Мариночкой и бабушкой Леной...

– Да, надо бы не забыть позвонить в Пензу, спросить, как они там поживают.

– А Марина к нам еще приедет?

– Конечно, почему ты спрашиваешь?

– Просто я уже соскучилась, а она что-то не пишет давно.

– Да взрослая уже девица, Марина-то. Наверное, учится, ей в школе совсем не до того. Буду звонить, привет от тебя передам.

– Ой, смотри, это же прошлый Новый год!

– Пойдем лучше чай пить, я варенье твое любимое...

– Я хочу посмотреть эту фотографию. Там папа! А где еще папины фотографии? Почему здесь пустые места? Я помню, здесь папа с мамой были, их свадьба. Куда ты их дела?

– Не волнуйся ты так сильно, ради Бога! Это мама перед отъездом их забрала.

– Чтобы смотреть, когда соскучится?

– Катюша, давай не будем вмешиваться в мамины дела... Мы с тобой ей сейчас не советчики.

– Бабуль, дай мне, пожалуйста, эту фотографию с папой. Я ее спрячу. Мама не найдет.

Анна Ионовна протянула внучке фотографию, на которой счастливая Надежда смеялась, слегка закинув назад голову, Александр влюбленно смотрел на нее, Катя сидела за столом, а бабушка в длинном платье – за пианино.

* * *

Резкая пульсирующая боль разбудила Надежду среди ночи, вернула из мрачного, бездумного небытия, в которое она проваливалась, как только врачи оставляли ее в покое и появлялась возможность опустить голову на подушку и отвернуться к стене. Источником боли была забинтованная кисть левой руки, которую она, как спеленатого ребенка, заботливо укладывала перед сном на подушку. Как только обезболивание проходило, рука вновь наполнялась ноющей болью и жаром. Но этот жар был пустяком по сравнению с огненной бурей, которая прошла по Надиной душе и выжгла ее дотла. Казалось, уже и болеть-то нечему, но глубоко внутри все что-то ныло, саднило.

Самое неприятное она старалась «заспать», но никак не получалось. Ее мучили сомнения в своей правоте, и она пыталась сосредоточиться не на жгучей боли от того, что муж изменил ей, не на открывшейся ее взгляду сцене, а на главном...

Вот она, не в силах заплакать, закричать, вымолвить хоть слово, по-рыбы беззвучно заглатывает ртом воздух. Вот хватает со стола стакан и что есть силы сжимает его в левой руке.

«Стоп! Почему стакан, зачем стакан? Больше нечего было, он один стоял», – оправдывала себя Надежда.

Стакан с хрустом лопается, острые осколки впиваются в ладонь, но ей не больно. Совсем не больно, только алая кровь заливает белую скатерть на столе в гостиной, расплзается кляксой, превращается в бурое пятно. Она с удивлением смотрит на разрастающееся пятно, на свое отражение в зеркале и видит ужас, который плещется в глазах мужа, так же по-рыбы разевающего рот. Кажется, они не сказали друг другу ни слова. Ну а что тут скажешь? «Ничего», – шептала она сухими горячими губами – ночью у нее поднималась температура. За этим «ничего» – тоже каким-то скрипучим, напоминающим опасный, тихий треск лопающегося стекла, – как и за самим порезом, ничего не стояло: за ним не было будущего, одна выжженная пустыня в бесслезной душе.

На седьмой день в больнице Надежду вызвал к себе в кабинет заведующий отделением.

– Боюсь, мы ничего не сможем сделать, – сказал он, разглядывая на свет рентгеновский снимок.

– Что с моей рукой? – отстраненно спросила она, глядя на рваные серые облака на белесом небе за окном.

За тридцать лет работы в этой больнице заведующий видел разных пациентов: борющихся и сломленных, до последнего верящих в выздоровление и потерявших всякую надежду. Бывало, вера творила чудеса и позволяла врачам достичь большего, чем они могли ожидать.

Лежачие уходили на костылях – и это уже было победой, обезображенные в авариях находили в себе силы смотреть на себя в зеркало, а потом снова и снова возвращались под нож хирурга уже для пластических, косметических операций. И даже самые безнадежные в молчаливой мольбе заглядывали ему в глаза... Жить хотелось всем. Впервые он видел такое равнодушие. Возможно, напускное, внушенное, но оттого еще более безнадежное, глухое, непробиваемое, как стена.

Он даже подсылал к Надежде нянечку и пару общительных медсестер, которые разговорили бы и мертвого. Может быть, ей надо было выговориться. Иногда проще сделать это с незнакомым человеком, который ничего для тебя не значит и скоро исчезнет из твоей жизни.

Однако не такова была Надежда Борисовна, чтобы изливать душу первому встречному. Она отказывалась не только разговаривать. Она ничего не ела – только пила воду. Изю дня в день завтрак, обед и ужин нетронутыми отвозились на каталке обратно на кухню.

– Глубокая резаная травма сухожилий сгибателей кисти. С тыльной стороны ладони находятся сухожилия – разгибатели, а с внутренней – сгибатели, – обрадованный хоть какому-то интересу пациентки, заведующий демонстративно развернул свою ладонь и помахал ею в воздухе. – Сухожилия дают возможность сжимать руку в кулак. С их помощью человек способен взять какой-либо предмет. При любом механизме травмы, в частности при открытых повреждениях, нарушается анатомическая целостность всех тканей, попавших в травмированную зону. При этом кожа, жировая клетчатка, фиброзно-связочный аппарат, сосуды, нервы после анатомического перерыва не смещаются, а отрезки сухожилий-сгибателей смещаются за счет сокращения мышцы-сгибателя и уходят от раны, в результате чего образуется диастаз.

Надежда посмотрела в глаза заведующему и прервала его:

– Мне не интересны медицинские термины. Я правильно поняла Вас: я больше никогда не смогу пользоваться левой рукой?

– К сожалению, порез слишком глубокий. Повреждены четыре зоны из пяти. Мы будем стараться сделать все от нас зависящее. Мне сказали, что Вы пианистка...

– Это не имеет значения, – перебила она.

– Ну, как же...

Надежда подняла здоровую правую руку и жестом остановила заведующего, приготовившегося к долгой убеждающей речи.

– Доктор, я не маленькая, и отлично осознаю свою ситуацию. Сейчас меня интересует только обезболивание. Рука сильно болит, особенно по ночам.

– Не беспокойтесь, мы выпишем Вам хорошие обезболивающие препараты.

В больнице Надежда провела десять дней, а потом действительно отправилась в санаторий. К Анне Ионовне и Кате вернулась через месяц. Она сильно похудела. Лицо осунулось, под глазами легли темные круги. Некогда блестящие волосы потускнели. И она по-прежнему ничего не ела, кроме крошечных кусочков шоколада.

О прошлой жизни напоминал лишь длинный бугристый шрам через всю левую ладонь, а так – будто и не было Суворова, концертов, квартиры на Арбате. Хотя нет, еще осталась шумная, веселая Катя, так похожая на отца. Избавиться от Кати Надежда, конечно, не могла, но ей все время хотелось отгородиться от дочери, уменьшить, а лучше и вовсе выключить звук, чтобы не слышать суворовских ноток в голосе. Как и в больнице, главная ее мечта сосредоточилась на одном: чтобы от нее все отстали, ни о чем не спрашивали, никуда не звали. Если бы внешний мир перестал существовать, она вздохнула бы с облегчением.

Иногда в квартире звонил телефон. Все реже и реже: прежних коллег, поклонников, знакомцев Надежда умело отшила в первый же месяц после своего возвращения. По негласно установленному правилу трубку брали Анна Ионовна или Надежда. Никто не запрещал этого Кате, но по тревожной паузе, которая грозовой тучей зависала в воздухе после первых телефонных трелей, по тому, с какой опаской и неохотой мать и бабушка подходили к аппарату, стараясь не опередить друг друга, она понимала, что брать трубку ей не стоит. Лучше сделать вид, что телефона не существует.

Когда Катя пошла в школу, ей стали звонить подруги – узнать про уроки, обсудить свое, девичье. Установленных правил это тем не менее не изменило: трубку поднимала бабушка.

– Бабуля у тебя как секретарь, – шутили Катины одноклассницы. – А ты – директор. Никогда к телефону не подходишь, пока бабушка не доложит, кто звонит.

Катя только виновато улыбалась в ответ. Как объяснить девочкам то, что само собой разумеется: она не подходит к телефону, потому что не подходит никогда, и точка.

В ней не было детской склонности подслушивать разговоры взрослых, тем более что мать даже с бабушкой разговаривала редко, поэтому Катя не знала причин установившейся в ее семье телефономании. Будь она чуть любопытнее, ответы на многие вопросы нашлись бы сами собой.

Однажды зазвонил телефон. Трубку взяла и тут же положила Надежда.

– Надечка, кто звонил? – крикнула из кухни Анна Ионовна.

– Этот!

– Неужели?

– Да! Все никак не успокоится. Только и твердит: «Хочу с Катей встретиться. Хочу увидеть свою дочь».

– Может, разрешишь, Надечка? Его уж и так жизнь наказала...

– Только через мой труп! Я же предупреждала, – закричала Надежда на мать. – Ты хочешь, чтобы я в окно вышла? Смерти моей добиваешься?

– Что ты!.. Прости меня, Бога ради! Прости!

Со временем Анна Ионовна научилась воспринимать эти приступы гнева как раскаты грома или как повышенное давление: если никуда от них не деться, принимай такими, как есть, и терпи.

Порой приходили письма и даже телеграммы, которые Надежда, не читая, рвала и выбрасывала в помойное ведро. Еще в больнице, подолгу изучая белую стену, она вынесла окончательный вердикт виновнику крушения ее карьеры и жизни. Пересмотру этот вердикт не подлежал.

Иногда Надежда привычно садилась за пианино и наигрывала что-нибудь правой рукой, но заканчивались эти попытки одинаково: хлопнув крышкой, она качалась на табурете из стороны в сторону и тихо подвывала.

«Какая несправедливость! – думала Анна Ионовна. – Столько композиторов писали произведения для левой руки: Шмидт, Корнгольд, Вольфсон... И этот замечательный концерт Равеля... А сколько переложений для игры левой рукой...»

– Доченька, вспомни Витгенштейна! Давал же он концерты единственной левой рукой. Ты можешь играть правой...

– Может, мне еще руку подвязать для большего сходства? Нет уж, чем так... лучше вообще не играть.

– Он с одной рукой стал доктором музыки в Америке! И, между прочим, исполнял сочинения, сопоставимые по сложности...

– Мама, Витгенштейн был инвалидом, вернувшимся одноруким с Первой мировой войны! Я не хочу, чтобы меня жалели... И судачили: она-то откуда вернулась? Известно откуда – с семейного скандала!

Однажды Надежда попросила Анну Ионовну:

– Мама, избавься, пожалуйста, от пианино.

– Но как же?... Я не понимаю, что ты говоришь!

– Прошу тебя, я не могу видеть его. Каждую ночь, когда я прохожу мимо, в этой черной панели отражается лунный свет. Ты не видишь, как это страшно, мама. Это же не пианино, это мой гроб!

Анна Ионовна заплакала, но через минуту взяла себя в руки и сказала:

– Доченька, милая, ну что ты! Не придумывай. Ты еще ребенком на нем играла... Какой гроб? Ты же у меня совсем молодая. Двадцать семь лет! Я еще замуж тебя выдам.

– Хватит, замужем я уже была.

– Ну, погоди, а Катя, Катюшка наша. Тебе ее еще на ноги ставить. Еще с внуками нянчится. Не волнуйся, давай я тебе валерьяночки накапаю. Двадцать капель или тридцать?..

Пианино, на котором играл еще Бенья, Анна Ионовна все же отстояла. Она накрыла его белым чехлом, и, хоть теперь оно напоминало в темноте притаившееся в углу огромное привидение, на что постоянно жаловалась бабушке Катя, Надежда оставила ни в чем не повинную семейную реликвию в покое.

Через полгода Надежда устроилась в соседнюю школу учителем в группу продленного дня, а потом неожиданно начала ходить на курсы по изучению иврита.

По выходным она часто гуляла в одиночестве, и в одну из своих прогулок завернула на один из семи московских холмов – Ивановскую горку. Бесцельно покружила по переулкам Кулишек, Хитровки, вышла на Архипова. Внимание ее привлекло монументальное здание на высоком фундаменте. Белые колонны у парадного входа делали его похожим на музей или провинциальный театр. Надежда поняла, что очутилась рядом с синагогой.

Потом она пришла к ней еще раз, и еще. Узнала, что в Москве их осталось всего две: деревянная в Марьиной роще и эта – Большая Хоральная на Архипова. Была еще в Черкизово, но ее закрыли.

В семидесятые и восьмидесятые годы Большая Синагога на Ивановской горке стала местом встречи так называемых отказников, которых власть не отпускала в Израиль, а также слушателей полуподпольной иешивы «Кол-Яков», изучавших Талмуд.

Прогулками в одиночестве Надежда стремилась упорядочить свою жизнь, унять душевный хаос, но даже самые продолжительные из них не могли сделать того, на что способна вера. Теперь каждую субботу она пешком шла в синагогу. Возвращаясь, она даже улыбалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.